

А. И. ГЕРЦЕН И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО.¹

I.

В № 94 «Колокола» (от 15 марта 1861 г.) А. И. Герцен, глубоко волнуясь в ожидании манифеста, возвестившего упразднение крепостного права, выразил пожелание, чтобы его «помянул кто-нибудь в день великого народного воскресения». И он, конечно, вполне заслуживал такого поминания. Ему принадлежит одно из самых первых мест между теми нашими писателями, которые готовили общественное мнение России к «великой реформе». Поэтому уместно будет вспомнить о нем теперь, в тот год, когда исполнилось 50 лет со времени отмены крепостного бесправия.

Жизнь А. И. Герцена резко разделяется на две части. Он родился в Москве 25 марта 1812 года и до 1847 года жил в России, частью как «свободный» обыватель, а частью в качестве ссыльного и поднадзорного грешника. Но 31 января 1847 г. он переехал в Таурогене русскую границу и с тех пор уже не возвращался на родину. Сообразно с этим делением его жизни и я разделяю свое изложение на две части. В первой я покажу, как относился он к крепостному праву в бытность свою на родине, а во второй—рассмотрю, как боролся он с ним, вооруженный своим могучим литературным талантом и пользуясь английской свободой печати в бытность свою за границей.

В то время, к которому относится пребывание Герцена в России, борьба передовых русских писателей с крепостным правом была страшно затруднена крайнею строгостью цензуры. Чтобы характеризовать с этой стороны то время, достаточно напомнить известную сцену, разыгравшуюся в конце 1842 года

¹ «Совр. Мир», 1911 г., № 11 и 12.

в московском цензурном комитете при докладе цензора Спигирева о «Мертвых душах» Гоголя. Председатель комитета, помощник попечителя Московского учебного округа, двоюродный брат Герцена, Д. П. Голохвастов, о котором довольно часто упоминается в «Былом и Думах», заявил, как только услышал название книги:

— Нет я этого никогда не позволю: душа бывает бессмертна, мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия!

Когда докладчик объяснил, что под мертвыми душами понимаются души тех умерших крестьян, которые продолжают числиться в ревизских списках, председатель еще больше переполохился.

— Нет,—закричал он, дружно поддержанный всем почтенным собранием,—этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревизская душа; уж этого нельзя позволить: это значит—против крепостного права!

Касаться крепостного права было еще строже запрещено, чем касаться вопроса об бессмертии души. Оно и неудивительно. Крепостное право считалось тогда одной из важнейших основ общественного порядка. При таком положении дел передовые писатели могли восставать против крепостного права только в художественных произведениях, поскольку они изображали темные стороны тогдашнего крестьянского быта. Но и тут цензура смотрела, что называется, в оба. Вот почему, говоря о том времени, когда Герцен жил в России, уместнее будет обратить главное внимание не столько на борьбу его с крепостным правом, сколько на те влияния, благодаря которым он склонился к этой борьбе.

А. И. Герцен был незаконным сыном богатого и родовитого русского барина Ивана Алексеевича Яковлева. Его незаконное происхождение создавало для него некоторые, и, пожалуй, даже немалые, неудобства в жизни. Очень вероятно, что разговоры старших об его «ложном положении» немало содействовали пробуждению критической мысли в голове ребенка. По словам самого Герцена, разговоры эти вселили в него то убеждение, что он зависит от своего родителя меньше, чем зависят от своих

отцов законные дети. «Эта самобытность, которую я сам себе выдумал, мне нравилась», — признается он. Однако И. А. Яковлев много заботился о судьбе своего незаконного сына, и, несомненно, что при своих обширных связях он мог обеспечить ему завидное местечко среди тех, которые пользовались всеми выгодами крепостного порядка. Что же сделало из А. И. Герцена врага этого порядка? Что укрепило любовь к свободе в душе впечатлительного ребенка?

Он принадлежал к тому поколению русских людей, на которых глубоко повлияло событие, вообще имевшее огромное значение в истории внутреннего развития России. Я говорю о неудавшемся восстании 14 декабря 1825 г. В «Былом и Думах» Герцена есть интересное место, очень ясно показывающее, как подействовали на него вести о петербургском восстании и о ближайших последствиях.

«Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился все больше и больше сосредоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это случилось, но, мало понимая, или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души»¹.

От кого же мог ждать пробудившийся ребенок поддержки своим свободолюбивым стремлениям? Кто мог ответить ему на те вопросы, которые вызваны были в нем «картечью и победами, тюрьмами и цепями»? Ответили его учителя — «русский» и «французский».

Прежде всего мальчик обратился к «русскому» учителю И. Е. Протопопову. Того глубоко тронули его признания, и, уходя домой с урока, он обнял мальчика со словами: «Дай Бог, чтобы эти чувства созрели в вас и укрепились». После этого он стал носить ему запрещенные стихотворения: «Думы» Рылеева, «Кинжал» и «Оды на свободу» Пушкина. Герцен замечает в «Былом и Думах»: «Я их переписывал тайком... (а теперь печатаю явно!)»².

¹ Сочинения (заграничное изд.), т. VI, стр. 66.

² Т.-е. в Вольной русской типографии в Лондоне.

Потом пришла очередь «французского» учителя: должно быть, «русский» не все объяснил.

Герцен случайно открыл в подвальной библиотеке своего отца какую-то историю французской революции. Написанная роялистом и крайне пристрастная, она вызвала к себе недоверчивое отношение со стороны своего юного читателя; но, вместе с тем, она породила в нем желание потолковать с каким-нибудь компетентным лицом о выдающихся событиях великой эпохи. Наиболее компетентным показался ему на этот раз «французский» учитель. Герцен так передает свою беседу с ним.

«— Зачем,—спросил я его середь урока,—казнили Людовика XVI?

«Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

«— *Parce qu'il a été traître à la patrie* ¹.

По справедливому замечанию Герцена, такой решительный ответ стоит всяких сюжечкивов. Он окончательно убедил юного свободолюбца в том, что французского короля казнили недаром.

Юмористическая подробность. Старый террорист прежде не любил Герцена, считая его пустым шалуном за то, что тот дурно готовил уроки. Он нередко говаривал: «Из вас ничего не выйдет». Однако после разговора о казни Людовика XVI гнев сменился милостью. Он с тою же важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил: «Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас» ².

¹ Т.-е. потому, что он изменил своему отечеству (Соч., т. VI, стр. 71).

² В России конца XVIII и начала XIX в. находилось много французских эмигрантов. Между ними были защитники старого порядка и были революционеры: как те, так и другие оставили след в ходе развития своих русских воспитанников. Так, напр., биограф А. И. Кошелева говорит, что мать наших известных славянофилов Киреевских была воспитанницей французской эмигрантки графини Доррер, кото-

II.

Почему люди, имеющие возможность пользоваться известной привилегией, восстают иногда против ее существования? Как объясняется это несомненное явление? И не опровергает ли оно собою той материалистической теории, согласно которой стремления всякого данного общественного класса (или сословия) определяются, в последнем счете, его интересами?

Маркс и Энгельс говорят в знаменитом «Манифесте», что в тот исторический момент, когда борьба классов, в своем данном виде, приближается к развязке, процесс разложения охватывает весь господствующий класс, вследствие чего от него отделяются некоторые его элементы, переходя на сторону угнетенного класса, борющегося за свое освобождение. В доказательство авторы «Манифеста» указывают на то, что некогда часть дворянства перешла на сторону буржуазии, а в наши дни некоторые элементы буржуазии переходят на сторону пролетариата. Они правы. Если мы примем во внимание указываемые ими неоспоримые исторические факты, то дело представится нам в таком виде.

Стремления различных общественных классов определяются их положением, т.-е., значит, и х и н т е р е с а м и. Но так как классовые положения, а следовательно, и классовые интересы различны, то различны и обусловленные ими стремления. Когда человек, принадлежащий к господствующему классу, переходит на сторону класса угнетенного, тогда он доказывает этим не то, что он освободился от всякого вообще классового влияния, а только то, что он вышел из-под влияния одного класса и попал под влияние другого

рая отличалась, по его словам, вполне аристократическими привычками и характером. Он замечает, что это обстоятельство имело большое влияние на ее умственный и нравственный строй (Биография А. И. Кошелева, т. I, кн. II, Москва 1889 г., стр. 3). Мы имеем право думать, что обстоятельство это через посредство Авдотьи Петровны не осталось без влияния также на умственный и нравственный склад ее сыновей, Ивана и Петра Киреевских, отличавшихся большим консерватизмом. Ср. также В. Ляскового — «Братья Киреевские, жизнь и труды их», Спб. 1899 г.

го. Стало быть, его пример не опровергает исторического материализма, а только предостерегает от его узкого и одностороннего понимания.

В чем же заключается задача всякой серьезной биографии такого общественного деятеля, который, принадлежа по своему происхождению к угнетателям, перешел на сторону угнетенных? В том, чтобы обнаружить обстоятельства, вырвавшие из-под влияния угнетателей и возбудившие в нем сочувствие к угнетенным. Признаюсь, я дорого дал бы за такую биографию, например, аристократического аббата Сийеса, которая выяснила бы мне, какими именно путями проникло до него влияние третьего сословия, впоследствии заставившее его написать знаменитые слова: «Что такое третье сословие?—Ничто! Чем оно должно быть?—Всем!». К сожалению, до сих пор биографы довольно невнимательно изучали такие обстоятельства.

Что касается А. И. Герцена, то мы кое-что уже знаем о том, под каким влиянием развивалась его любовь к свободе. Нам уже известно, какую часть этих влияний следует отнести на долю его учителей. Теперь мы рассмотрим то влияние, котороешло, по его выражению, из передней, т. е. от крепостной прислуги.

Что русская «крещеная собственность» (его же выражение) не оставалась без того или другого более или менее полезного и разностороннего влияния на «благородное сословие», это нетрудно признать а priori, и это подтверждается целым рядом общеизвестных фактов. Кто не знает, например, что Пушкин учился русскому языку у своей крепостной нянюшки, знаменитой теперь Арины Родионовны?

Другой пример. Автор «Жизни за царя» и «Руслана», М. И. Глинка, рассказывает, что в детстве он часто слышал в доме своих родителей русские народные песни. «Эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня звуки мне чрезвычайно нравились,—говорит он,—и, может быть, эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первою причиной того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку»¹.

¹ Цит. в «Истории музыкального развития России» М. М. Иванова, СПб. 1910 г., т. I, стр. 270—271.

Чтобы не плодить примеров, я ограничусь еще одним только указанием на выразительное и убедительное свидетельство П. Д. Боборыкина. В небольшой статье, посвященной «крепостным развивателям» и напечатанной в IV т. юбилейного издания: «Великая реформа», он говорит:

«Теперь, по прошествии пятидесяти лет моего писательства, я, вспоминая моих «развивателей», чувствую к ним неллицемерную признательность. От кого же я узнал столько о жизни, и старой и той, когда я стал более сознательно относиться ко всему окружающему, как не от них? И то, что я видел в них самих, и что они мне рассказывали в течение целого десятка лет, и их язык, и их житейский опыт, и очень тонкая наблюдательность, и любовь к природе и животным, и народное мирозерцание, склад их понятий, верований, правил, вся поэзия быта, где реальная правда так сливается с народной фантазией,—все это их дар, их наследство!»¹.

Тут перед нами яркий пример весьма разностороннего влияния крепостных людей на своего будущего барина. Правда, тут еще ничего не сказано о том, как влияли на Боборыкина его «крепостные развиватели» в смысле отношения к дворянским привилегиям. Но дальше Боборыкин говорит и об этом: «Они, мои крепостные развиватели, привлекая ребенка тем, что они собою представляли, чем занимались, что умели, о чем рассказывали, воздержали его от черствости и гордыни сословного чувства»².

На Герцена «крепостные развиватели» тоже влияли в смысле разрушения в нем сословного предрассудка. Вообще, вспоминая об этих своих «развивателях», Герцен решительно оспаривает дворянский предрассудок, согласно которому крепостная прислуга могла только развращать барских детей. «Напротив,—говорит он,—она, эта передняя, с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: «Дайте срок, вырастете, такой же барин будете, как другие». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может

¹ Указ. соч., стр. 84—85.

² Там же, стр. 85.

быть довольна—таким, как другие, по крайней мере, я не сделался»¹.

Приводимое здесь Герценом пророчество его нянюшки чрезвычайно характерно. Крепостная прислуга, по горькому опыту, знала, что иное дело—психология «барского дитяти», а иное дело—психология взрослого барина. Барин не родится, а становится. Чтобы он научился ограничивать свое поле зрения интересами эксплуататоров, нужно не мало времени. Ребенку не так легко дается эта наука. «Барское дитя» первоначально просто общественное животное—*Zoon polition*,—как выражается Аристотель. В качестве такового оно способно сочувствовать всем своим ближним, независимо от их общественного положения. Лишь постепенно, переставая быть «дитятей», оно научается смотреть с разных точек зрения на слугу и на барина; а когда оно научается этому, когда в его сердце укрепляются сословные предрассудки, оно, по выражению Веры Артамоновны, становится таким же барином, как другие. Но в исключительные эпохи,—недалекие от момента крушения данного порядка,—известная часть юных кандидатов на роль эксплуататоров не подчиняется этому общему правилу. Она состоит, разумеется, из наиболее отзывчивых индивидуумов². Герцен принадлежал к их числу, и по этой причине не сбылось по отношению к нему мрачное, на горьком опыте основанное пророчество его няни Веры Артамоновны.

III.

Повидимому, И. А. Якозлев не был очень жесток в обращении со своими крепостными. Это положительно признает А. И. Герцен в «Былом и Думах», и это же подтверждает

¹ Соч., т. VI, стр. 49.

² Прилагательное «отзывчивые» я употребляю здесь для обозначения способности сочувствовать страданиям окружающих. Способность эта не всегда бывает значительно развита даже у очень даровитых личностей. Так, например, И. А. Гончаров вряд ли обладал ею в значительной степени. По крайней мере, из его очерка «Слуги» совсем не видно, чтобы он когда-нибудь проникался таким горячим сочувствием к «передней», какое заметно в воспоминаниях Герцена.

М. К. Рейхель в своих воспоминаниях. Мы узнаем от нее, что И. А. крестьян своих «не тиранил», а, если кому-нибудь из его слуг случалось провиниться, то он читал ему длиннейшие нотации, но не ругался при этом, а, главное, не подвергал виновного телесному наказанию¹.

И все-таки впечатлительный ребенок мог рано заметить много чрезвычайно тяжелого в подневольном положении барских слуг. Его глубоко поражало, например, отчаяние тех молодых людей, которых отдавали в солдаты.

«На меня сильно действовали эти страшные сцены... Являлись два полицейские солдата по зову помещика; они воровски, невзначай, врасплох брали назначенного человека; староста обыкновенно тут объявлял, что барин с вечера приказал представить его в присутствие, и человек сквозь слезы куражился, женщины плакали, все давали подарки, и я отдавал все, что мог, т.-е. какой-нибудь двугривенный, шейный платок»².

Вспоминает Герцен еще о том, как его отец приказал обрить бороду одному из своих старост. Это своеобразное «наказание на теле» страшно огорчило несчастного старосту: «он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафа, но помиловать от бесчестия»³.

Еще более сильное впечатление должны были произвести на него рассказанные в «Былом и Думах» история повара, составившего «крещеную собственность» его дяди («Сенатора»), а также смерть крепостного медика Толочанова.

«Сенатору» удалось отдать своего повара в учение знаменитому царскому повару-французу. Усвоив его науку, он служил в английском клубе, разбогател и пожелал выкупиться на волю. «Сенатор» не согласился продать ему свободу, сказав, что отпустит его даром после своей смерти. Это так подействовало

¹ «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней А. И. Герцена», Москва 1909 г., стр. 15. Ср. соч. Герцена, т. VI, стр. 41. Герцен говорит в противность М. К. Рейхель, что телесные наказания практиковались и его отцом, но они «были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы; сверх того, они были вызываемы значительными проступками».

² Соч., т. VI, стр. 41.

³ Там же, стр. 41—42.

на бедного артиста кулинарного искусства, что он сделался горьким пьяницей. Герцен, имевший случай близко видеть этого погибшего человека, пишет:

«Я тут разглядел, какая сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека: он говорил со скрипом зубов и с мимикой, которая особенно в поваре могла быть опасна. При мне он не боялся давать волю языку; он меня любил и, часто фамильярно трепля меня по плечу, говорил: «добрая ветвь испорченного дерева». — После смерти «Сенатора» мой отец дал ему тотчас отпускную; это было поздно, и значило сбыть его с рук, он так и пропал»¹.

Судьба крепостного врача была, если это возможно, еще более трагична. Он принадлежал тому же «Сенатору». Барин хлопотал ему позволение ходить на лекции медико-хирургической академии. Герцен говорит, что по окончании своих занятий в академии крепостной врач «лечил кой-как»; однако признает, что у него были способности и что он выучил латинский и немецкий языки. Впоследствии Толочанов женился на дочери какого-то офицера, умолчал перед нею о своем подневольном положении. Когда печальная истина открылась, жена пришла в ужас и бежала от него с другим. Бедняк отравился. Это было 31 декабря 1821 года. Одиннадцатилетний Герцен слышал стоны Толочанова и его крик: «жжет! жжет! огонь!». Когда кто-то посоветовал умиравшему послать за священником, он отказался, объявив, что не верит в загробную жизнь. Он умер в 12-м часу ночи со словами: «Вот и Новый год, поздравляю вас!».

Все эти страшные подробности, как видно, тогда же дошли до сведения юного Герцена. Пусть он сам расскажет, как действовала на него эта ужасная история.

«Утром я бросился в небольшой флигель, служивший баней, туда снесли Толочанова; тело лежало на столе в том виде, как он умер, во фраке, без галстука, с раскрытой грудью; черты его были страшно искажены и уже почернели. Это было первое мертвое тело, которое я видел; близкий к обмороку, я вышел вон. И игрушки, и картинки, подаренные мне на Новый год, не

¹ Соч., т. VI, стр. 47.

тешили меня; почернелый Толочанов носился перед глазами, и я слышал его «жжет—огонь!»¹.

Именно после рассказа о смерти Толочанова Герцен и замечает (в заключение), что на него передняя не имела никакого дурного влияния, а, наоборот, развила в нем с детства непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Только что приведенные мною примеры ясно показывают думается мне, откуда именно взялась эта ненависть. Ее заронили в душу отзывчиво ребенка те люди, которые сами жестоко страдали от произвола и рабства, и, вызывая в его душе это благородное чувство, они давали ничем не заменимый толчок его дальнейшему нравственному развитию.

Заметьте при этом, что Герцен отнюдь не был склонен к идеализации передней. Он говорит, что приучать дворовых детей к «службе» значило приучать их к праздности, лени, лганью и к употреблению сивухи². И, однако, он признает, как мы видели, что именно крепостной передней обязан своей ненавистью ко всякому угнетению человека человеком. Как же это так? Да очень просто.

Приучая человека к употреблению сивухи, к праздности и лганью, передняя не приучала его,—по крайней мере, в то время, к которому относятся детство и отрочество Герцена,—мириться со своим угнетенным положением³. А это значит, что ответ, который она давала на вопрос о взаимных отношениях людей, был неизмеримо выше в нравственном отношении, нежели тот, который можно было получить в барском кабинете или в гостиной. Только те молодые ветви испорченного древа, которые не забывали ответа, даваемого крепостной передней,—только они и могли сделаться прогрессивными работниками в тогдашней России.

¹ Там же, стр. 48—49.

² Соч., т. VI, стр. 42.

³ Иногда бывает не так. Путешественники сообщают, что в некоторых местностях Африки рабы свысока смотрят на наемника, считая свое положение более почетным. Так всегда бывает на тех ступенях общественного развития, когда рабство вполне соответствует, как «организация труда», состоянию общественных производительных сил. В эпоху Герцена такого соответствия у нас уже не было.

История нашей литературы очень мало рассматривалась до сих пор с точки зрения общественной психологии. А эта последняя, в свою очередь, очень мало изучалась с точки зрения взаимных отношений и взаимного влияния общественных классов. Но то немногое, что мы знаем об этом предмете, вполне подтверждает сказанное мною о роли крепостной передней в деле нравственного развития тех представителей «отрицательного» направления нашей общественной мысли, которые происходили из дворянской среды.

Укажу на Лермонтова. Г. Нестор Котляревский говорит: «В деревне Лермонтов провел тринадцать лет—не только свое детство, но и отрочество. Крестьянский быт был у него перед глазами, и он, как рассказывают, жил в довольно тесном общении с простым людом»¹.

Не это ли тесное общение забросило в его душу первые семена того «отрицательного» настроения, которое впоследствии так своеобразно развилось,—вернее было бы сказать: так своеобразно недоразвилось,—в ней?

Я считаю это весьма и весьма вероятным.

Но как бы там ни было по отношению к Лермонтову, что касается Герцена—никакое сомнение невозможно². Он сам говорит, как мы уже знаем, что ненависть к рабству и к произволу была внушена ему крепостной прислугой. А если это так, то ясно, что общение с этой прислугой впервые сделало его способным понимать проповедь свободы, что оно впервые сделало его восприимчивым к таким влияниям, как влияние 14-го декабря, запрещенных стихотворений Рылеева и Пушкина или, наконец, террористической проповеди «французского» учителя: ведь, он, конечно, раньше пришел в «общение», скажем, со своей нянюшкой Верой Артамоновной, чем услышал о 14-м декабря или стал брать уроки у французского террориста из Меца,

¹ Н. Котляревский, «Лермонтов», Спб. 1909, стр. 18.

² Ч. Ветринский замечает, что, вследствие незаконного происхождения Герцена, прислуга смотрела на него как на полубарченка («Герцен», Спб. 1908, стр. 7). В самом деле, вполне возможно, что его происхождение способствовало его сближению с крепостной прислугой.

monsieur Бушо. А это значит, что, вызывая в нем ненависть ко всякому рабству и произволу, крепостная прислуга, сама того не подозревая, очень сильно содействовала его последующему политическому развитию.

IV.

«Мне одиночество в кругу зверей вредно»,—писал Герцен в своем дневнике 10 июня 1842 г. Такое одиночество вредно всякому. Неизвестно, какой вид приняла бы в душе Герцена ненависть к рабству и произволу, впервые посеянная в нем крепостной прислугой, если бы ему суждено было остаться одиноким со своими свободолюбивыми стремлениями. Может быть, он, подобно Лермонтову, который тоже далеко не чужд был свободолюбивых стремлений в своей юности, но которому, как видно, выпал на долю тяжелый жребий нравственного одиночества,—может быть, он не пошел бы дальше гордого, но бесплодного презрения к «пошлой толпе».

Чтобы пояснить мою мысль, я приведу пример, заимствуя его у того же Герцена. По его словам, он, будучи переполнен своим «бушотовским терроризмом», вздумал однажды доказать одному из своих ровесников справедливость казни Людовика XVI. «Все так, но ведь он был помазанник Божий»,—возразил его слушатель. «Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним»¹. Это понятно. Но представьте себе, что все те ровесники, которым юный Герцен вздумал бы излагать свои крайние взгляды, оказались бы похожими на этого слушателя, что произошло бы отсюда? Он стал бы на каждого из них смотреть с сожалением; он разлюбил бы их всех и, хотя, может быть, не перестал бы встречаться с ними, но уж, наверно, не пытался бы более открывать перед ними свою душу. Другими словами, он сделался бы замкнутым, т. е. именно таким, каким до конца жизни оставался Лермонтов. Но это не все. Смотря на своих сверстников с презрением, он привык бы видеть в себе избранника, не оцененного и не понятого «толпою», т. е. опять-таки то, что видел в себе Лермонтов.

¹ Соч., т. VI, стр. 90.

Да и это еще не все. Свободолюбивые стремления впечатлительного юноши, не найдя себе отклика в окружающей среде, вызвали бы в нем мрачный взгляд на будущее. Кто не помнит знаменитого стихотворения Лермонтова: «Дума»?

Печально я гляжу на наше поколение!
Его грядущее — иль пусто, иль темно;
Меж тем, под бременем познания и сомнений
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.

Если для Герцена, Белинского и других людей 40-х годов жизнь не превратилась в ровный путь без цели; если они избежали Лермонтовского разочарования, то это в значительной степени надо отнести на счет тех счастливых случайностей, которые избавили их от «одиночества среди зверей»¹. Их спасло сочувствие, встреченное ими в кружках единомышленников.

¹ Что Лермонтов в своей ранней юности имел много свобододолюбивых стремлений, в этом теперь невозможно сомневаться. Г. Н. Котляревский говорит: «В его юношеских тетрадах немало заметок и стихов, в которых он касается политических событий своего времени. Суждения его о них самые либеральные, для тех годов даже очень смелые. Есть резкая выходка против «тирана» Аракчеева («Новгород», 1830), весьма непочтительная сатира по адресу королей («Пир Асмодея», 1830) и малопонятное предсказание для России какого-то черного года, чуть ли не возвращения пугачевщины («Предсказание», 1830), — пусть все это незрело и непродумано, но очевидно, что мысль Лермонтова начинала работать в этом направлении очень рано, и некоторые его позднейшие стихотворения, заподозренные в либерализме, были, как видим, не капризом, а плодом уже долгого раздумья. Есть в юношеских тетрадах поэта также два стихотворения, посвященные польской революции, оба восторженные и полные радикального духа, хотя слабые по выполнению. Есть одно стихотворение, очень умное и красивое — привет какому-то певцу, который был изгнан из страны родной, но, очевидно, не за любовь свою к Музам» (цит. соч., стр. 47—48). Все это довольно знаменательно; но политические стремления Лермонтова остались неразвитыми, а впоследствии, повидимому, совсем заглушились. В его поэзии преобладает нота индивидуального протеста гордой и независимой личности против пошлой общественной среды.

Я не стану распространяться о том значении, которое имела в отроческой жизни Герцена дружба его с Н. П. Огаревым. Напомню только знаменитую клятву, произнесенную молодыми друзьями во время прогулки на Воробьевых горах.

«Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга, и вдруг, обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу»¹.

Сцена эта своей романтической внешностью способна вызывать у иного читателя улыбку. Но, если принять во внимание, что с этого дня Воробьевы горы стали для обоих ее участников как бы местом паломничества, куда они ходили по нескольку раз в год, «и всегда одни», то делается ясным, что она оставила глубокий след в их душе.

Герцен говорит: «Ничто в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес»². Это, бесспорно, так. Но можно прибавить: ничто в свете не охраняет так возбужденный в отроче общечеловеческий интерес, как возможность разделить его.

В университете вокруг Герцена и Огарева быстро образовался товарищеский кружок — знаменитый в истории нашего умственного развития кружок Герцена и Огарева. К нему принадлежали Н. И. Сазонов, Н. М. Сатин, В. Пассек, Н. Х. Кетчер, Маслов, Лахтин, Носков и известный впоследствии как астроном А. Н. Савич.

Учащаяся молодежь, окружавшая Герцена, была, как он выражается, прекрасная. Она живо интересовалась вопросами науки и в то же время не закрывала глаз на окружающую ее общественную жизнь. Герцен замечает, что это сочувствие с общественной жизнью необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. «Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги

¹ Соч., т. VI, стр. 93.

² Соч., т. VI, стр. 91.

читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, но и те молчали»¹.

Для понимания взгляда Герцена на Россию, сложившегося впоследствии, но тесно связанного, разумеется, с воспоминаниями юности, полезно будет здесь же отметить следующее обстоятельство.

По его словам, общественные различия не имели никакого влияния на взаимные отношения в среде тогдашнего студенчества. Студент, который вздумал бы хвастаться знатностью своего происхождения или своим богатством, был бы, как выражается наш автор, «отлучен от «воды и огня, замучен товарищами». И все-таки это была преимущественно дворянская молодежь. Медицинское отд., на котором преобладали немцы и семинаристы, держалось в стороне от всего остального студенческого мира. «Немцы,—говорит Герцен,—держали себя несколько в стороне и были очень пропитаны западно-мещанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас—мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей риторикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы — досадовали на их христианское смирение»².

Не касаясь немцев, вспомним, что в 60-х годах студенты из семинаристов не только не обнаруживали «христианского смирения», но составляли, можно сказать, передовой отряд учащейся молодежи. Студент-разночинец частью опередил тогда студента-дворянина, частью подчинил его своему влиянию. Это изменение в удельном весе разночинного общественного элемента нашло свое выражение в истории наших общественных идей. Когда наши народники 70-х годов утверждали, что интеллигенция организует наиболее отзывчивые элементы крестьянства и возьмется вместе с ними за осуществление идеалов «Земли и Воли», они имели в виду интеллигентов-разночинцев. А когда Герцен, в начале 50-х г.г., говорил, что

¹ Соч., т. VI, стр. 138.

² Соч., т. VI, стр. 127.

наша интеллигенция принесет народу последние (социалистические) выводы западно-европейской мысли, он подразумевал дворянскую интеллигенцию. Так, например, в своем сочинении: «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» (Paris 1851, p. 84) он прямо говорит, что «работа революционной мысли совершалась у нас не в правительстве и не в народе, а в мелком и среднем дворянстве». То же повторяет он и в некоторых других случаях.

Ниже я подробнее рассмотрю эту сторону его взглядов, а теперь мне хотелось только отметить, до какой степени история умственного развития его подтверждает правильность того материалистического положения, что не бытие определяется мышлением, а мышление—бытием.

V.

Кружок Герцена-Огарева был «политическим» кружком в противоположность не менее знаменитому кружку Станкевича, отличавшемуся философским направлением. «Философы» довольно-высокомерно поглядывали на «политиков», подозревая их в отсутствии основательности¹. Тем не менее, к «философам» столько же, сколько и к «политикам», применимо то замечание Герцена, что тогдашняя учащаяся молодежь, интересуясь вопросами теории, не отворачивалась от вопросов жизни. От К. С. Аксакова, — который был одним из членов кружка Станкевича, — мы узнаем, что в кружке этом «выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир», и притом, — заметьте это, — «воззрение

¹ Герцен рассказывает: «До ссылок между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондëрами и французами, мы их—сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой, последние следы взаимного непонимания, был Грановский» (Соч., т. VII, загл. изд., стр. 120).

большей частью отрицательное»¹. Если это было так, между «философами», то тем полнее должно было господствовать отрицательное воззрение между «политиками».

«Политики» были неутомимыми пропагандистами. Герцен говорит: «Там, где открывалась возможность обращать, проповедывать, там мы были со всем сердцем и помышлением, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже»...

Что же, собственно, проповедывали они? За ответом на этот вопрос я опять предпочитаю обратиться прямо к Герцену.

«Что мы, собственно, проповедывали, трудно сказать. Идей были смутны: мы проповедывали французскую революцию, потом проповедывали сен-симонизм и ту же революцию; мы проповедывали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но цуще всего проповедывали ненависть ко всякому насилию, ко всякому произволу».

Знакомясь с учением Сен-Симона, наша передовая молодежь впервые знакомилась тогда с западно-европейским социализмом. Герцен говорит, что сен-симонизм лег в основу его убеждений, — он даже употребляет более широкое выражение: «в основу наших убеждений», — «и неизменно остался в существенном»². Тут он опять совершенно прав. Он, в самом деле, до конца жизни остался социалистом. Кто позабудет об этом, тот не поймет и публицистической деятельности Герцена в эпоху уничтожения крепостного права. И до конца жизни Герцен повторял в своем социализме ту ошибку, которая свойственна была не только учению Сен-Симона, но и всему вообще утопическому социализму. Я имею в виду не уменьшение этого социализма свести концы с концами в своем понимании связи между бытием и сознанием, экономикой и политикой. Читатель подумает, пожалуй, что я хочу сказать парадокс, если я прибавлю, что этой слабой стороной взглядов Герцена-социалиста до известной степени объясняется широта того

влияния, которое имел «Колокол» в первые годы своего существования. Но это в самом деле так. Ниже я раз'ясню, в чем тут дело¹. А теперь замечу пока вот что.

Одной из самых коренных и самых плодотворных мыслей в системе Сен-Симона является та мысль, что «dans tout pays la loi fondamentale est celle qui établit la propriété et les dispositions pour la faire respecter»². Будучи правильно понята, эта чрезвычайно важная мысль под-сказывает тот вывод, что правовые отношения и политический строй всякой данной страны определяется ее экономикой. Это — чисто материалистическая мысль. Сен-Симон не только дошел до этой мысли, но положил ее в основу многих весьма глубоких своих соображений о ходе развития европейской цивилизации в течение нового и новейшего времени. Он доказывал, что производство есть цель общественного союза, а вследствие этого во главе такого союза всегда будут находиться люди, руководящие производством. До XV века важнейшей отраслью производительной деятельности были земледельческие работы, которыми руководило дворянство. Поэтому в руках дворянства сосредоточивалась политическая власть. Но мало-по-малу, по мере развития промышленности, возник и выступил в роли значительной исторической силы новый общественный класс — промышленники, в собственном смысле этого слова. Класс этот вступил в борьбу с дворянством и постепенно отнял у него почти все его экономические позиции. Ища себе союзников в этой борьбе, он соединился с королевской властью, и этим обстоятельством объясняется весь дальнейший ход развития французской монархии вплоть до Людовика XIV, в лице которого королевская власть отвернулась от промышленного класса и сделалась союзницей дворянства. Сен-Симон считал это

¹ См. об этом также в моей статье: «Герцен-эмигрант», напечатанной в 13-м выпуске «Истории русской литературы XIX века», выходящей под редакцией Д. Н. Овсянко-Куликовского в изд. т-ва «Мир», стр. 150.

² Не имея под руками Сен-Симона, цитирую по P. Louis, «Histoire du socialisme français», Paris 1901, p. 66. «Т.-е. в каждой стране основной закон есть тот, который устанавливает собственность и принимает меры, нужные для ее охраны».

¹ К. С. Аксаков, «Воспоминания студентства 1832—1835 годов». Спб. 1911 г., стр. 17.

² Соч., т. VІІ, стр. 197.

большой политической ошибкой и неустанно убеждал Бурбонов в том, что им следует как можно скорее поправить свой промах, т.-е. разорвать вредный—как для них самих, так и для всей Франции—союз с аристократией и перейти на сторону «промышленного класса».

Излишне говорить, что Бурбоны остались глухи к его совету. Но не мешает отметить характерную для Сен-Симона, равно как и для всех других социалистов-утопистов, теоретическую ошибку. Она заключается в том, что, пока речь идет о прошлом, Сен-Симон рассматривает политическую власть, — а следовательно, и деятельность ее представителей в течение каждого данного исторического периода, — как следствие, необходимо вытекающее из своей причины, т.-е. из экономических отношений данного времени. А когда речь заходит о настоящем и о будущем, тот же самый писатель рассматривает ту же самую власть, как независимую общественную силу, которая может по своему благоусмотрению сделаться выразительницей интересов любого общественного класса. По отношению к прошлому Сен-Симон—материалист; по отношению к настоящему и будущему он—чистокровный идеалист. Материализму он обязан своими глубокими философско-историческими рассуждениями,—из которых так много заимствовали Огюстен Тьерри и Огюст Конт,—а на счет идеализма должна быть отнесена его политическая программа, не раз изменявшаяся в частностях, но всегда сохранявшая наивно-утопический характер.

Ввиду всего этого приобретают особенно поучительное значение приведенные мною выше слова А. И. Герцена о том, что сен-симонизм лег в основу его убеждений и «неизменно остался в существе». Мы скоро увидим, что в своей роли публициста Герцен повторял ошибку Сен-Симона и других социалистов-утопистов: он тоже возлагал слишком много надежд на благоусмотрение представителей политической власти; он тоже забывал в этой своей роли, что пределы возможного для всякого данного правительства определяются характером тех экономических отношений, из которых оно вырастает.

В известном смысле, он даже более склонен был к этой ошибке, нежели западно-европейские социалисты-утописты. По

крайней мере, в его теоретических взглядах было меньше препятствий для нее.

Дело тут вот в чем.

В западно-европейской литературе Сен-Симон со своими учениками был далеко не единственным носителем того взгляда, что ход внутреннего развития европейского общества определялся борьбой «промышленного класса» с аристократией. Уже в эпоху реставрации взгляд этот был усвоен всеми выдающимися французскими историками, а от них перешел и к русским писателям. Но эти последние весьма своеобразно видоизменили или, если хотите, дополнили его. Они признали, что западно-европейское общество, действительно, создано было борьбою классов, но полагали в то же время, что такая борьба не играла ровно никакой роли во внутреннем развитии России. Эта двойственная и противоречивая философия истории с наибольшим усердием разрабатывалась М. П. Погодиным и славянофилами, собственно, так называемыми, однако ее отнюдь не отвергали и западники. Ее держался Белинский; ее же держался и Герцен. Каждый из этих двух блестящих писателей, так горячо споривших со славянофилами и так едко смеявшихся над ними, готов был повторить вместе с Погодиным, что Россия — не Запад, и что русское общество создавалось не взаимной борьбой классов, а,—по крайней мере, со времен Петра,—цивилизующим влиянием правительства¹. Всякий понимает, что такая философия русской истории необходимо должна была predispose Герцена к огромному преувеличению тех возможностей, которые стояли тогда перед верховной властью в деле уничтожения крепостного права, а также, конечно, и в деле других реформ.

¹ См. об этом подробнее в моей статье: «М. П. Погодин и борьба классов» («Совр. Мир», 1911 г., март и апрель). Наши западники видели в процессе исторического движения России нечто противоположное ходу социального развития на Западе. Чаще всего противоположность обосновывалась ими ссылкой на отсутствие у нас борьбы классов; впоследствии они очень сочувственно встретили мысль Кавелина о родовом характере русской истории, противоположном личному характеру истории западной. Белинский называл эту мысль гениальной («Белинский, его жизнь и переписка», изд. 1876 г., т. II, стр. 248).

Мы остановились бы с полнейшим недоумением перед некоторыми относящимися сюда, теперь почти невероятными, упованиями Герцена-публициста, если бы от нашего внимания ускользнули эти слабые стороны Герцена-теоретика.

С практической стороны имела большую важность для Герцена и его кружка еще та мысль Сен-Симона, что все «общественные учреждения должны иметь целью нравственное, умственное и физическое усовершенствование сословия самого многочисленного и бедного».

Впоследствии, говоря о системе Сен-Симона, Н. П. Огарев изображал эту мысль, как главнейший практический вывод из учения знаменитого французского социалиста¹. И всякий, кто знаком с литературной деятельностью Герцена и Огарева, согласится, что мысль эта решительно никогда не упускалась ими из виду.

VI.

Однако не будем забегать вперед. В ночь с 19 на 20 июля 1834 года Герцен был арестован, а в апреле следующего года он был отправлен в ссылку. С этих пор начинается первый ссылный период в жизни Герцена, продолжавшийся до марта 1840 г. Второй ссылный период его начался в июле 1841 года, когда он явился в Новгород и поселился на берегу Волхова, «против самого того кургана, откуда вольтерянцы XII столетия бросили

¹ См. в «Колоколе» (223) статью Огарева: «Частные письма об общих вопросах». Письмо IV.—В этой чрезвычайно интересной статье Огарев называет главной мыслью системы Сен-Симона то положение, что будущее есть функция прошедшего, и утверждает, что эта «простая мысль... не может не привести (курсив мой. Г. П.) к необходимости общественного пересоздания, в котором сословия имущих тунеядцев... и сословие немущих работников должны слиться в одну общую людскую производящую силу»... Надо сознаться, что это «не может не привести» не имеет достаточного логического основания. То положение, что будущее есть функция прошедшего, применимо ко всем эпохам общественного развития, а между тем лишь в XIX веке возникло стремление к организации работников «в одну общую производящую силу», о которой говорится здесь у Огарева.

в реку чудотворную статую Перуна»¹. Посмотрим же, как повлияла на него провинциальная жизнь в смысле отношения его к крепостному праву.

Время своей первой ссылки Герцен провел в Перми, Вятке и Владимире-на-Клязьме. В течение владимирского периода его внимание очень сильно было занято большим личным делом: его отношениями к Наталье Александровне Захарьиной, на которой он женился 10 мая 1838 года. В начале этого же года (5 января) он писал ей в Москву: «Теперь я весь твой: нет людей, а эти мне не нужны. Я всем друзьям сказал—прощайте. Так, как сказал мечтам о славе, о поприще, о деятельности—прощайте. Вся моя жизнь в тебе. Кончено. Я искал великого и нашел в тебе; я искал святого, идейного—и нашел в тебе. Итак, прощай весь мир»². Потом, после женитьбы, исключительность такого настроения ослабела. В «Былом и Думах» Герцен пишет: «Грудь наша не была замкнута счастьем, а, напротив, была больше, чем когда-либо, раскрыта всем интересам; мы много жили тогда и во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие, как во всех тончайших, пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий все было

¹ Соч., т. VII, стр. 195. В разговоре с тогдашним шефом жандармов Бенкендорфом Герцен перед своей второй ссылкой заметил: «В 1835 г. я был сослан по делу праздника, на котором вовсе не был! Теперь я наказываюсь за слух, о котором говорил весь город. Странная судьба!» (Там же, стр. 179). Действительно—странная! В первый раз Герцен и Огарев были привлечены по делу о празднике, на котором пелись запрещенные песни. Праздник пришелся в день именин старика Яковлева, и как Герцен, так и Огарев провели этот день в его доме. Во второй раз Герцена сослали за то, что он в письме к своему отцу сообщил слух об убийстве в Петербурге будочником одного обывателя. Письмо, разумеется, было вскрыто. На вопрос, каким образом Герцен и Огарев могли быть привлечены к делу, в котором не принимали участия, И. В. Анненков отвечает: «Это объясняется растяжимостью политических процессов и свойством их захватывать, ради полноты, сферы и идеи, лежащие по соседству» («Литературные воспоминания», СПб. 1909 г., стр. 73). Глубокая, но горькая истина!

² Ветринский. «Герцен», стр. 74.

родное, созвучное»¹. Но уже самые эти строки показывают, что главное его внимание все-таки сосредоточивалось тогда на его личных чувствах и отношениях. Неудивительно, что описание этих отношений и чувств почти целиком занимает собою те главы «Былого и Дум», которые повествуют о жизни Герцена во Владимире-на-Клязьме. Что касается Перми,—в которой он оставался, впрочем, совсем недолго,—и Вятки, то в них отсутствует помещичий элемент, а потому они мало знали крепостное право. Во время своей ссыльной жизни в том краю Герцен сталкивался, главным образом, с проявлениями бюрократического произвола. В «Былом и Думах» мы встречаем несравненное изображение этого произвола, конечно, больше всего давившего собою то сословие, часть которого изнывала под гнетом помещичьей власти, т.е. крестьянство. Напомню читателю хотя бы рассказ Герцена о «картофельном бунте» крестьян, отказавшихся засеять свои поля (по предписанию начальства) мерзлым картофелем. Дело дошло до картечи; крестьяне рассыпались по лесам; казаки выгоняли их оттуда, как диких зверей, и отводили в Козьмодемьянск на следствие...

«...Ну, в следствие пошло обычным русским чередом: мужиков секли при допросах, секли в наказание, секли для примера, секли из денег, и целую толпу сослали в Сибирь...»².

Заслуживает большого внимания также полный юмора рассказ о том, как исправник Девлет-Килдеев, «правовверный магометанин», насильственно обращал язычников-черемисов в православие. По словам Герцена, равноапостольный татарин получил в награду за труды Владимирский крест, к немалому смущению своих татарских единоверцев. Герцен прибавляет:

«Я потом читал в журнале министерства внутренних дел об этом блестящем обращении черемисов. В статье было упомянуто ревностное содействие Девлет-Килдеева. По несчастью, забыли прибавить, что усердие к церкви было тем более бескорыстно у него, чем тверже он верил в исламизм»³.

¹ Соч., т. VII, стр. 89—90.

² Соч., т. VII, стр. 331.

³ Там же, стр. 325.

Так как ссыльный Герцен по высочайшему повелению был определен на государственную службу, то ему волей-неволей пришлось близко ознакомиться с проявлениями бюрократической заботливости о народном благосостоянии. Он рассказывает, что перед окончанием его вятской жизни департамент государственных имуществ воровал до такой степени, что над ним была назначена следственная комиссия, разославшая ревизоров по губерниям. Вятский губернатор Корнилов должен был назначить от себя двух чиновников при этой ревизии, и одним из них оказался Герцен. «Чего не пришлось мне тут прочесть—и печального, и смешного, и гадкого! Самые заголовки дел поражали меня удивлением. — «Дело о потере неизвестно куда дома волостного правления и о изгрызении плана одного мышами». — «Дело о потере двадцати двух казенных оброчных статей», т.е. верст пятнадцати земли. — «Дело о перечислении крестьянского мальчика Василия в женский пол»¹. Это последнее дело возникло оттого, что священник, быв под хмельком, окрестил девочку мальчиком, назвав ее по ошибке вместо Василисы Василием. Ее отец обратился к подлежащему начальству с просьбой разрешить его недоумение о том, должна ли будет девочка впоследствии платить подушную подать и отбывать рекрутскую повинность. Герцен не знал, чем кончилось это курьезное дело, длившееся целые годы, но подозревал, что «чуть ли девочку не оставили в подозрении мужского пола». По этому поводу он вспоминает, как при императоре Павле один полковник по ошибке записал умершим больного офицера. Больной был по высочайшему повелению исключен из списков, но на беду свою выздоровел и подал просьбу о своем перечислении в список живых. Павел решил: «Так как о г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать». Герцен не без основания находит, что это еще лучше Василисы-Василия.

Вряд ли нужно говорить, что не весьма отрадны были те выводы, к которым приходил Герцен благодаря своим наблюдениям над жизнью в провинции. Ради точности приведу, впрочем, то замечание, которое он делает в «Былом и Думах» по

¹ Там же, стр. 325.

поводу обращения магометанином язычников в христианскую веру. Он думает, что это обращение—тип всех реформ, принимаемых нашей бюрократией: «фасад, декорация, blague, ложь, пышный отчет, кто-нибудь крадет и кого-нибудь секут»¹.

Другими словами, выходило, что понятие: «крепостное право» значительно шире понятия: «крепостная зависимость крестьян от помещиков». Это, конечно, известно было Герцену и раньше. Но то, что раньше опиралось на более или менее отвлеченные соображения, теперь приобретало всю убедительность непосредственного наблюдения.

Во время своей второй ссылки Герцен служил советником губернского правления и стоял во главе его второго отделения. В этом своем качестве он заведывал делами: о лицах, находившихся под полицейским надзором, о раскольниках и о злоупотреблениях помещичьей властью. Так как он сам был под надзором, то ему приходилось заведывать делом о самом себе. «Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить; я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят, а между тем это сущая правда»². Как это легко понять, поднадзорный Герцен не доставлял больших хлопот чиновнику-Герцену. Что касается дел о раскольниках, то наш советник, просмотрев их, оставил в покое, так как их, по его соображениям, лучше было не поднимать в интересах преследуемых. Но зато тем энергичнее налег он на дела о злоупотреблениях помещичьей властью.

«В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи старших злодейств; воспоминание об них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть, которую предупредить легко, а остановить вряд возможно ли будет»³.

Герцен делал, что мог, для защиты несчастных крепостных. Он с удовольствием рассказывает, например, как ему удалось отдать под суд отставного морского офицера Струговщикова,

¹ Соч., т. VII, стр. 323.

² Там же, стр. 199.

³ Там же, стр. 208.

долго и безнаказанно позволявшего себе в своем имении «все-возможные неистовства». Проигравший дело морской офицер пришел в ярость и обещался избить его. Но, как догадывается Герцен, вследствие непривычки к сухопутным кампаниям, оставил эту угрозу неисполненной.

Впрочем, подобные радости были не часты и не продолжительны. Служба становилась все менее и менее выносимой для ссыльного советника новгородского губернского правления. И не столько вследствие своей подневольности, сколько вследствие того, что, превращая его в одно из звеньев бюрократической машины, она возлагала на него нравственную ответственность перед своей совестью за зло, причиняемое народу этой машиной. Последней каплей, переполнившей чашу, был следующий случай.

Новгородский помещик Мусин-Пушкин ссылал в Сибирь на поселение своего крестьянина с женой. У этой четы был десятилетний сын, которого помещик оставлял у себя. Однажды, явившись в правление, Герцен застал там ссылаемую крестьянку, пришедшую хлопотать за сына. Она бросилась перед ним на колени и со слезами просила заступиться за нее. Пока она рассказывала ему, в чем дело, вошел губернатор, которому он и передал ее просьбу. Губернатор объявил, что по закону дети старше десяти лет остаются, в случае ссылки родителей, у помещика. Бедная мать, не понимавшая бесчеловечного закона, продолжала плакать, цепляясь за ноги неумолимого начальника губернии. Это надоело ему, и он крикнул, грубо оттолкнув ее от себя: «Да что ты за дура такая, ведь по-русски тебе говорю, что я ничего не могу сделать, что же ты пристаешь!». После этого он твердым шагом пошел к своему делу.

«И я пошел... с меня было довольно... Разве эта женщина не приняла меня за одного из них? Пора кончить комедию.

«— Вы нездоровы?»—спросил меня советник Хлопин, переведенный из Сибири за какие-то грехи.

«— Болен, — отвечал я, встал, раскланялся и уехал. В тот же день написал я рапорт о моей болезни, и с тех пор нога моя не была в губернском правлении»¹.

¹ Соч., т. VII, стр. 213.

VII.

Третьего апреля 1842 года Герцен «за болезнью» подал просьбу об отставке. Отставка была ему дана и даже с чином надворного советника; но в то же время Бенкендорф довел до сведения губернатора, что Герцену запрещается выезд из Новгорода. Только в июле того же года ему разрешено было переселиться в Москву, но без права въезда в Петербург.

Ссылная одиссея кончилась, Герцен опять был на «свободе». Он стремился действовать. Единственным возможным для него тогда в России родом деятельности была литература. Уже в 1843 г. появились в «Отечественных Записках» его известные статьи: «Дилетантизм в науке», затем, — не говоря о более мелких статьях и об остроумной полемике с «Москвитянином», — последовали «Письма об изучении природы», роман «Кто виноват?», повесть «Доктор Крупов», «Письма из Avenue Marigny» и повесть «Сорока-воровка». Некоторые из этих произведений вышли в свет, когда он уже был за границей, а некоторые («Письма из Avenue Marigny») и написаны были им на чужбине; но все они относятся к тому же периоду его деятельности, который непосредственно предшествовал его решению не возвращаться в Россию. Почти все они очень важны для истории развития русской общественной мысли¹. К сожалению, я могу здесь коснуться, да и то в немногих словах, лишь того, что относится в них к крепостному праву.

Как уже сказано выше, вопрос этот, при тогдашних цензурных условиях, был отчасти доступен только для беллетристов.

¹ Для этой истории имеет особенную важность второе «Письмо об изучении природы», где Герцен, следуя Гегелю, развивает ту замечательную мысль, что «доказать» предмет — значит раскрыть его необходимость, и что мысль предмета не есть исключительно личное достояние мыслящего: не он вдумал ее в действительность, она им только сознана; она предсуществовала, как скрытый разум в непосредственном бытии предмета». О том, какую роль играла эта мысль в истории собственных взглядов Герцена, см. вышеназванную статью мою о Герцене, стр. 141 того же вып. «Ист. русск. лит.».

Поэтому и у меня пойдет речь только о беллетристических сочинениях Герцена¹.

Герцен, как беллетрист, находился, что и понятно, под сильнейшим влиянием Гоголя. Г-н А. Веселовский очень верно говорит, что его роман «Кто виноват?», в своих описательных приемах и в своей юмористической расценке людей и быта, так же был связан с «Мертвыми душами», как впоследствии связаны были с ними «Губернские очерки» Щедрина². Но между тем как Гоголь видит в крепостном праве что-то вроде неизменного и даже благодетельного закона природы (см. его «Избранные места из переписки с друзьями»), Герцен ненавидит это право всем сердцем и всем помышлением. Это существенное различие в отношении к тому учреждению, которое служило тогда основой всей помещичьей жизни, резко сказывается в творчестве обоих этих писателей. Гениально осмеивая своих Собакевичей, Коробочек, Ноздревых и Маниловых, Гоголь изображает, — по крайней мере, хотел бы изобразить, — свойственные им недостатки и пороки вне причинной их связи с крепостным бытом. Совсем не то видим мы у Герцена. Чрезвычайно много уступая Гоголю в силе художественного творчества, он обнаруживает несравненно большую проницательность мысли. Внимательно прочитавши роман «Кто виноват?», вы ясно видите, что именно на почве крепостного права выросли так едко осмеянные автором понятия и привычки генеральской семьи Негровых; и не менее ясно видите вы, что то же право отравило молодые годы жизни генеральской

¹ Герцена упрекали за темноту его философских статей. Шутливо оправдываясь от этого упрека, он говорил: «Виссарион Григорьевич гораздо больше любит наши сказочки, чем наши трактаты, да он и прав. В трактатах мы беспрестанно переодеваемся от надзора и раскланиваемся любезно с каждым будочником, а в сказке ходим гордо и никого знать не хотим, потому что в кармане плакатный билет имеем: чинить ей пропуски, давать почлеги и кормежные» (П. В. Анненков, «Литературные воспоминания», стр. 288—289). Однако и переодевания не всегда помогали его трактатам избавляться от надзора. Он говорит (в письме к Киреевскому), что, боясь цензуры, не решился излагать философские взгляды Спинозы. «Такой, право, был жид, хоть брось».

² А. Веселовский, «Герцен-писатель», очерк, Москва 1909 г., стр. 47.

«воспитанницы» Любоньки. Герцен знает, что за каждым движением его пера глядит внимательный и зоркий враг—цензура. Он выражается осторожно. Но сдержанное осторожностью негодование его делает его насмешку еще более тонкой, а потому еще более язвительной. Напомню хоть деревенские занятия генерала Негрова. Поселившись в своей деревне, его превосходительство «брал всякий день приказчика и старосту, ездил за зайцами и ходил с ружьем. Не привыкнув решительно ни к какому рода делам, он не мог сообразить, что надобно делать, занимался мелочами и был доволен. Приказчик и староста были с своей стороны довольны баринном; о крестьянах не знаю: они молчали. Месяца через два в окна господского дома показалось прекрасное женское личико, сначала с заплаканными, а потом просто с прелестными голубыми глазками»¹.

Прелестные голубые глазки принадлежали дочери крепостного крестьянина Емельки Барбаша. Для полноты картины остается только прибавить, что наш сельский хозяин недолго предается и этим утомительным занятиям: «Он уверил себя, что исправил все недостатки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него идти может, и снова собрался ехать в Москву»². Но здесь юмор еще берет верх над негодованием. К тому же подобные ноты встречаются нередко и у Гоголя. А в истории крепостной гувернантки Софьи Немчиновой, ставшей впоследствии женою помещика Бельтова и матерью одного из главных героев романа «Кто виноват?» — Владимира Бельтова, юмор уступает место жгучему негодованию, которое и находит свое выражение в письме Софьи к своему преследователю. Вообще Герцена, как видно, сильно занимала трагическая судьба людей, принадлежавших к крепостной интеллигенции. Одной из представительниц этой разновидности является героиня повести «Сорока-воровка», талантливая актриса, погибающая жертвой ухаживаний графа Скалинского³. Белинский находил, что повесть

¹ Соч., т. III, стр. 18—19.

² Там же, стр. 19.

³ Повесть эта появилась в февральской книжке «Современника» за 1848 год, т.-е. уже во время пребывания Герцена за границей.

эта отзывалась анекдотом, хотя написана мастерски и производит глубокое впечатление. Но в ней рассказано истинное происшествие, и сам собою возникает вопрос: какого приговора заслуживает тот порядок, при котором возможны анекдоты, подобные сообщенному Герценом?

Еще более темную картину крепостного быта дает повесть «Долг прежде всего», первая часть которой была послана Герценом в Петербург из-за границы в начале 1848 г. Он говорит, что в герое этой повести Анатолии Столыгине ему хотелось представить человека, полного сил, энергии и способностей, но ведущего пустую, ложную и тягостную жизнь, вследствие постоянного противоречия между его стремлениями и его долгом. На это намерение автора (повесть осталась неоконченной) указывает и ее название: «Долг прежде всего». Сообщаемый Герценом план повести показывает, что долг, требования которого отравили жизнь героя, представлял собою не что иное, как совокупность требований, предъявлявшихся крепостным—в широком смысле этого слова—порядком к своим привилегированным защитникам. Таким образом повесть эта расширяет вопрос о крепостном праве до размеров политического вопроса. Цензура не позволила ее печатать, и она появилась за границей в сборнике «Прерванные рассказы» (1854 г.). Герцен объясняет строгость цензуры по отношению к его повести тем, что тогда был сильнейший припадок цензурной болезни:

«Сверх обыкновенной гражданской цензуры, была в то время учреждена другая—военная, составленная из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, инженеров, артиллеристов, начальников штаба, свиты его величества офицеров, плац- и бау-адъютантов, одного татарского князя и двух православных монахов под председательством морского министра»¹.

Эта остроумная характеристика знаменитого цензурного сверх-комитета вряд ли справедлива в своем качестве объяснения того, почему не могла появиться повесть «Долг прежде всего». Совершенно достаточно было обыкновенной цензуры, чтобы запретить ее. Белинский, характеризуя Герцена, как

¹ Соч., т. IV, стр. 69.

беллетриста, чрезвычайно тонко заметил, что «он изображает преступления, не подлежащие ведомству законов и понимаемые большинством, как действия разумные и нравственные». Но совершенно естественно, что повесть, изображавшая как преступление то, что представлялось вполне законным и справедливым с точки зрения тогдашнего порядка, сама должна была представляться преступной служителям этого порядка. Повесть «Долг прежде всего» особенно грешила этим грехом. А потому и не увидела света в России.

VIII.

9 октября 1843 года Герцен вписал в свой дневник следующие строки:

«...Нам, славянам, предстоит молчание или слово вне отечества, как сказал Мицкевич»².

В том же «Дневнике», под 24—25 января следующего года, стоит: «Террор. Какая-то страшная туча собирается над головами людей, вышедших из толпы. Страшно подумать: люди, совершенно невинные, не имеющие ни практической прямой цели, не принадлежащие ни к какой ассоциации, могут быть уничтожены, раздавлены, казнены за какой-то образ мыслей... Противники мысли об экспатриации советуют ехать по-добру, по-здорову».

Отсюда видно, что мысль об экспатриации, т.е. о переселении за границу, стала приходить Герцену, по крайней мере, с конца 1843 года. В продолжение нескольких лет «экспатриация» рассматривается им лишь как неприятная возможность. Даже отправляясь за границу в январе 1847 года, он остается чуждым намерения сделать эту возможность действительностью. Однако уже 2 года спустя у него созревает решение остаться за границей. Первая глава его так много нашумевшей книги «С того берега» носит знаменательное название: «Прощайте»³.

¹ Сочинения В. Белинского, ч. XI, Москва. 1884 г., стр. 390.

² Соч., т. I, стр. 40.

Глава эта помечена 1 марта 1849 г.

Обращаясь в ней к своим друзьям в России, он говорит: «Наша разлука продолжится еще долго — может всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потом, не знаю, будет ли это возможно». Потом, — и весьма скоро, — это оказалось невозможным. Осенью 1850 года, через своего консула в Ницце, русское правительство потребовало его немедленного приезда на родину, заранее ставя на вид, что ни в каком случае не согласится на отсрочку. Ввиду такого нетерпения он с своей стороны убедился, что ехать домой ему ни в каком случае не следует. Так сделался он эмигрантом. Впоследствии он говорил, что предпочел бы ссылку в Сибирь положению эмигранта. Но в Сибири над ним тяготела бы та же всероссийская цензура, а жизнь за границей обеспечивала ему свободу слова. И это существенно меняет положение дела.

В только что цитированной мною главе книги: «С того берега» он писал: «Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки. но для того, чтобы работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме нашего дела... Я здесь полезнее, я здесь — бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель».

Таким образом, когда ему пришлось выбирать между молчанием и словом вне отечества, он выбрал свободное слово.

Если принять во внимание, что Белинский был тогда уже в могиле, то надо признать, что не было человека, который лучше Герцена годился бы для роли «свободного органа» передовых русских людей. И Герцен, как известно, блестяще выполнил эту роль.

Нам предстоит теперь ознакомиться с тем, как боролся он с крепостным правом, живя за границей. Но для полного понимания этой его деятельности не мешает подвести окончательный итог его взгляду на русский народ. После всего сказанного выше едва ли нужно доказывать, что все его симпатии были, именно, на стороне народа. Впрочем, вот весьма убедительная выписка из его дневника (от 8-го июля 1844 года):

«Чего недостает ему (т.е. народу. Г. П.), чтоб выйти из жалкой апатии? Ум блестит в глазах; вообще, на десять мужиков, наверное, восемь не глупы и пятеро положительно

умны, сметливы и знающие люди; их много клеветают с нравственной стороны, они лукавы и готовы мошенничать, но это тогда, когда становятся в противоположность нам. Иначе не может быть, мы явно и законно грабим их, сила не одинакая...»¹.

Эта выписка явилась бы ненужным повторением того, что уже известно читателю, если бы в ней не обнаруживалась новая сторона взгляда нашего автора на крестьянство. Он от всей души сочувствует крестьянину, он верит в его умственные и нравственные качества, но он считает его находящимся в состоянии жалкой апатии. Эта сторона взгляда Герцена многое объясняет собою в его последующей заграничной литературной деятельности. На нее необходимо было обратить здесь внимание. Очень ошибся бы тот, кто предположил бы, что относящиеся сюда слова только что приведенной выписки выражают собою мимоходный, случайный оттенок взгляда Герцена. В этом оттенке нет ничего случайного, мимоходного. В апреле того же года он, рассказав в своем дневнике о возмущении крестьян одной волости Тамбовской губернии, прибавляет: «Все мужики этой волости — молокане, перед ними шла девушка, певшая псалмы. Итак, из раскольников скитов вырываются такие звуки, среди общей немоты крестьян»².

Звуки, о которых говорит здесь Герцен, — т.-е. крестьянские волнения, — не ограничивались тогда средой сектантов. Но при неоспоримой немоте нашей печати они оставались неизвестными даже передовым людям той эпохи. Само собою разумеется, что волнения вроде того, о котором говорит Герцен в своем дневнике, еще отнюдь не свидетельствуют о способности крестьян к социально-политической самостоятельности. Впоследствии наши народники, «бунтари» 70-х годов, совершили крупную ошибку, приурочив свои упования к такого рода волнениям. Жизнь очень скоро «разочаровала» их с этой стороны. Но как бы там ни было, а для характеристики взглядов Герцена и его тогдашних единомышленни-

ков немаловажно то обстоятельство, что крестьянство казалось им более «немым» и апатичным, и даже чем оно было на самом деле. Иначе сказать, Герцен и его единомышленники при всем своем сочувствии к народу признавали и должны были признавать его пока еще совершенно неспособным к деятельной защите своих интересов. Оставалось уповать на будущее. И Герцен много уповал на него.

Интересно, что «Мертвые души» Гоголя понравились Герцену тем, что они, по его мнению, представляли собою, хотя и горький, но не безнадежный упрек России. По его словам, Гоголь видит удалую, полную силы национальность там, где взгляд его проникает сквозь туман навозных испарений.

«Грустно в мире Чичикова, так как грустно нам в самом деле; и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование *ins Blaue*, а имеет реалистическую основу, кровь как-то хорошо обращается у русского в груди. Я часто смотрю из окна на бурлаков, особенно в праздничный день, когда, подгулявши, с бубнами и пеньем, они едут на лодке: крик, свист, шум. Немцу во сне не пригрезится такого гуляния; и потом, в бурю — какая дерзость, смелость: летит себе, а что будет, ни будет. Взглянул бы на тебя, дитя — на нашего, но мне не дожидаться; благословляю же тебя хоть из могилы»¹.

Эта вера в будущее русского народа далеко не всегда предохраняла его от тяжелого настроения, порою недалекого от отчаяния. В его дневнике, под 21 апреля 1843 года, мы читаем:

«Наше состояние безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей, и наше дело — отчаянное страдание»².

Однако в общем у него преобладает светлый взгляд на будущее России³. И этот взгляд поддерживается верой в

¹ Соч., т. I, стр. 18.

Там же, стр. 98.

³ Эта вера в будущее составляет у него даже что-то вроде категорического императива. Он рассуждает так: «Чаадаев превосходно заметил однажды, что один из величайших характеров христианского

¹ Соч., т. I, стр. 211.

² Там же, стр. 193.

будущее западно-европейского мира. «И как подумаешь, — пишет он, — что едва 75 лет прошло как Европа спала в унижении, едва пробуждаемая благовестом водворителей нового мира, и взглянешь на современное ее состояние, далекое от достижения, но, тем не менее, развитое потребностью, невольно благоговейный трепет уважения к человечеству обнимает душу. Велика французская революция; она первая возвестила миру, удивленным народам и царям, что мир новый родился и старому нет места»¹.

Мы сейчас увидим, что скоро у него установился почти безнадежный взгляд на Западную Европу. Тогда тем нужнее стала ему вера в Россию. Но и тогда он нигде не обнаруживал надежды на крестьянскую самостоятельность. А что касается исключительно занимающего нас периода до отъезда его за границу, то его недоверие к народной самостоятельности прекрасно выражается в следующем месте его дневника:

«Кто-нибудь должен проснуться, — или правительство, или народ. О первом так же трудно поверить, как о другом...»

Эти строки были написаны 24 декабря 1843 г. А 24 марта 1844 г. Герцен утверждает: «Доселе с народом можно говорить только через священное писание». Запомним это.

IX.

За границей Герцен прожил революционное движение 1848 — 1849 г.г. и, как утверждают, обыкновенно, разочаровался вследствие неудачного исхода этого движения. Тут есть некоторая неточность, которую надо поправить.

В «Колоколе», от 1 июня 1867 года, Герцен спрашивает Бакунина: «Помнишь наши долгие разговоры перед февраль-

воззрения есть понятие (здесь, вероятно, опечатка: «поднятие». Г. П.) надежды в добродетель и постановление ее с верой и любовью. Я с ним совершенно согласен. Эту сторону упования в горести, твердой надежды в повидимому безвыходном положении, должны по преимуществу осуществить мы. Вера в будущее своего народа есть одно из условий одолевания будущего» (т. I, стр. 179).

¹ Дневник, 27 июля 1843 г. Соч., т. I, стр. 130—131.

ской революцией, в которых я, как прозектор, указывал рост смерти западного «старика», а ты с надеждой и упованием — рост едва обличившейся жизни славянского недоросля. Я и в него не очень верил, а верил в одну Россию и ее социальные зачатки».

Как видите, в своем отношении к Западной Европе Герцен — тот самый Герцен, у которого вера в Россию поддерживалась верою в силу общечеловеческого прогресса, — был очень похож на разочарованного еще «перед февральской революцией». Стало быть, нельзя сказать, что Герцен разочаровался только под влиянием неудачного исхода этой революции. Напротив, вполне позволительно предположить, что ее неудачный исход не привел бы его к разочарованию, если бы он не был в значительной степени разочарован еще до нее¹.

Как бы там ни было, несомненно то, что, когда Герцен решился остаться надолго в Западной Европе, он был глубоко разочарован в ней. Так как это его разочарование определило собою дальнейшее развитие его взглядов, то на нем необходимо остановиться.

Когда Герцен, еще «перед февральской революцией», в своих разговорах с Бакуниным «указывал на рост смерти западного старика», он, несомненно, повторял с более или менее существенными оговорками ту славянофильскую мысль, что «Запад» уже изжил самого себя. А когда впоследствии эта мысль утвердилась в нем благодаря неудачному опыту февральской революции, она приняла у него следующий вид.

Роль теперешней Европы совершенно кончена. С 1848 г. разложение ее растет с каждым шагом. Спасти Запад от разложения способен только работник. Но «работник может быть побежден, а если он будет побежден, то разложение старой Европы сделается неизбежным». Иногда Герцен начинал думать, что «работник» уже и окончательно побежден, и

¹ См. об этом статью «Герцен-эмигрант» в 13-м вып. «Истории русской литературы XIX в.», изд. тов. «Мир», под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского. (Перепечатано в настоящем сборнике.)

что, стало быть, разложение Западной Европы уже неотвратимо; иногда, наоборот, у него воскресала более или менее сильная надежда на то, что дело «работника» на Западе еще не совсем проиграно, и тогда он опять начинал верить в возможность его прогрессивного развития. Эта надежда оживилась со времени возникновения Международного Товарищества Рабочих. Если бы Герцену суждено было видеть дальнейшие успехи западно-европейского рабочего движения, то вполне возможно, что он совсем отказался бы от своего мрачного взгляда на внутреннее состояние Европы. К сожалению, преждевременная смерть, — он умер, как известно, 21 января 1870 г., — устранила эту возможность. Поэтому те наши современники, которые даже в нынешней Европе не видят ничего, кроме «мещанства» («слона-то я и не приметил!»), имеют некоторое кажущееся право ссылаться на Герцена. В сущности, настроение этих... скептиков не имеет ровно ничего общего с настроением Герцена. Он думал, что только торжество рабочего класса могло бы спасти Запад от овладевшего им мещанства. А наши нынешние скептики считают одним из самых ярких проявлений мещанства, именно, современное рабочее движение. Ясно, что они — далеко не родня Герцену; ясно, что они всеу приемлют его знаменитое имя.

Но оставим их. Мы видим, что, рассуждая о возможной судьбе Запада, Герцен становится на точку зрения борьбы классов: победит рабочий класс — Западная Европа воскреснет к новой жизни; не победит — она окончательно разложится. Эта попытка определить дальнейший ход внутреннего развития данного общества, становясь на точку зрения происходящей в нем борьбы классов, сближает здесь Герцена с последователями современного научного социализма. Но не следует преувеличивать это сближение. Герцен, только скрепя сердце, приурочивает к борьбе классов свои упования на будущее торжество социализма в Западной Европе. Разрешение «социального вопроса» путем классовой борьбы представлялось ему самым худшим средством его разрешения. Утопический характер того социализма, которого, говоря вообще, держался наш великий публицист, едва ли не больше всего сказался в его отвращении от классовой борь-

бы¹. События 1848—1849 г.г. разочаровали его, главным образом, потому, что явились выражением классовой борьбы в западно-европейском обществе. Поскольку борьба эта являлась более или менее надежным средством разрешения великого вопроса об отношении труда к капиталу, она производила на него впечатление горькой насмешки над силой того самого разума, последним словом которого он считал западно-европейский социализм. Требования разума соответствовал, по его взгляду, лишь такой ход решения «социального вопроса», при котором почин общественного преобразования взяли бы на себя просвещенные и беспристрастные представители господствующего класса. Из всех уроков, данных ему западно-европейской жизнью, самым тяжелым для него был тот, который гласил, что образованные представители господствующего класса на Западе отнюдь не хотят — да и не могут хотеть — браться за осуществление социалистического идеала. Вот почему его уверенность в том, что судьба западно-европейского общества зависит от победы (или поражения) рабочего класса, вполне уживалась у него с весьма безотрадным взглядом на западно-европейскую жизнь. Придя к этой уверенности, он продолжал оставаться разочарованным, во-первых, потому, что, как сказано выше, вообще, видел в классовой борьбе самый неудовлетворительный способ решения общественных вопросов, а, во-вторых, еще и потому, что шансы победы пролетариата казались ему до крайности незначительными².

¹ Ниже будет указано, что Герцен уже чувствовал, однако, некоторые слабые стороны утопического социализма, и что это не осталось без влияния на его мнение о западном «старике».

² Вот его собственные слова: «Пока дело шло о политических правах, все образованное стояло со стороны движения; дошедши до социального вопроса, сделалось новое расщепление. Несколько человек остались верными логике и движению, но масса образованных отступила и очутилась, — при своих оппозиционных замашках, — с консервативной стороны. Народ, за которого прежний революционер становился ходатаем, снова пал на руки попам или вовсе остался беспомощным в потемках низменных сфер жизни; адвокаты его, скрывавшие за собою его детскую неразвитость, расступились, и мы увидели несколько пророков на горе, а внизу — спящую тяжелым сном народную массу. Итти вперед боялись, итти назад было невозможно, вера в про-

Можно, пожалуй, сказать, что он и в этом отношении остался сен-симонистом. В самом деле, 29 ноября 1831 г. сен-симонистский (тогда) «Globe» писал: «Les classes inférieures ne peuvent s'élever qu'autant que les classes supérieures leur tendent la main. C'est de ces dernières que doit venir l'initiative» («Низшие классы могут подняться лишь в той мере, в какой им помогут сделать это высшие классы. От этих последних должен исходить почин»). Так думал, как видно, и Герцен. Но так же думали и все социалисты-утописты. Поэтому нельзя сказать, что в данном случае он был особенно близок к сен-симонистам. Но этим несколько не ослабляется правильность того положения, что разочарование Герцена в Западной Европе вызвано было нежеланием высших классов западно-европейского общества взять на себя почин общественного преобразования.

Герцен очень любил сравнивать отношение европейского Запада к социализму с отношением Римской империи к христианству. Рим выработал христианский идеал, но не мог осуществить его: это сделали другие народы. Герцену казалось вероятным, что, выработав социалистический идеал, Западная Европа не в состоянии будет воплотить его в жизнь, и что к его осуществлению призвана именно Россия. Не мешает заметить, что французские социалисты того времени, вообще, находили очень много сходства в положении современного им европейского общества с положением Рима в эпоху христианства¹. Герцен лишь дополнил это сравнение такой гипотезой, которая могла притти в голову только русскому. Интересно, что сама терминология Герцена часто представляет собою лишь видоизмененную терминологию современных ему французских социалистов. Так, например, его известный ответ Мишле озаглавлен: «Старый мир и Россия». Это приводит на память выпешдшую несколькими годами раньше только

шедшее была утрачена; надо было выжидать, ладить, удерживать нужное и ненужное, отстаивать приобретенное, отталкивать новое. Такому положению дел простой деспотизм империи, т.е. самодержавной полиции, естественнее конституционной монархии» («Письма к путешественнику». Письмо VI. «Колокол» № 203).

¹ См., например, Виктора Консидерана: «Le socialisme devant le vieux monde ou le vivant devant les morts», Paris 1848, p. 25.

что указанную мною книгу Консидерана: «Социализм перед старым миром или живой перед мертвым». Разница лишь в том, что у Консидерана старым миром назывался мир защитников старого общественного порядка, а у Герцена этим именем обозначается весь Европейский Запад.

Х.

Чем сильнее было разочарование Герцена в Западной Европе, тем большее нравственное значение приобретала для него вера в Россию. Прежде вера эта сама поддерживалась, как мы знаем, верою в революционные силы Запада. Теперь вера в Запад пропала, зато тем сильнее стала вера в Россию. Это кажется парадоксом: как могла укрепиться вера в Россию после разрушения той основы, на которую она когда-то опиралась? Недоумение разрешается только что указанными мною особенностями социалистических взглядов Герцена.

Я сказал, что, по основному практическому смыслу этих взглядов, требованиям разума соответствовал лишь такой ход решения социального вопроса, при котором почин общественного преобразования взяли бы на себя просвещенные представители господствующего класса. На Западе представители этого класса показали себя во время революции 1848—1849 г.г. совсем не на высоте призвания. А в России они как будто готовы были подняться на эту высоту. Я уже цитировал то место из брошюры Герцена: «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», где говорится, что работа революционной мысли совершалась у нас не в правительстве и не в народе, а в мелком и среднем дворянстве. То же повторял Герцен и в других случаях. Так, в речи, произнесенной в Лондоне 27 февраля 1854 г. в международном собрании, чествовавшем память февральской революции, он следующим образом характеризует современную ему Россию: «Там вы встретите два зародыша движения: один—сверху, другой—снизу. Один—преимущественно отрицающий, разлагающий, раз'едающий — рассыпается в малых кружках, но готов составить большой, деятельный заговор. Другой — более положительный, хранящий в се-

бе почки будущего образования—находится в состоянии дремоты и бездействия. Я говорю о молодом дворянстве и о сельской общине, которая представляет основную ячейку всей ткани общественной, животворящее начало славянского государства.

Тут рядом с «деятельным» молодым дворянством, будто бы готовым взяться за решение той задачи, от которой отвернулся господствующий класс западно-европейских стран, указывается другой общественный фактор, при всей своей пассивности составляющий, по мнению Герцена, чрезвычайно счастливую особенность России: общинное владение землей. Существование общины в огромной степени облегчит деятельному молодому дворянству его прогрессивную реформаторскую работу. Таким образом Россия осуществит тот социалистический идеал, до которого Запад доработался в своем развитии, но которого он не мог воплотить в жизнь.

Этот ход рассуждений показывает нам, каким образом автор книги: «С того берега» мог укрепить свою веру в Россию, несмотря на то, что рушилась его вера в Западную Европу. И он же делает понятными все главные отличительные черты его последующей публицистической деятельности.

Поселившись в Лондоне, он завел типографию, — первую действительно вольную, т.-е. свободную от цензуры, русскую типографию, — и тотчас принялся за проповедь крестьянского освобождения. Борьба против крепостного права стала его важнейшей целью. Но к кому обратился он со своей проповедью? Прежде всего к дворянству. В брошюре: «Юрьев день! Юрьев день!» он писал, обращаясь к этому сословию:

«Мы—рабы, потому что мы господа. Мы—слуги, потому что мы помещики. Мы—крепостные, потому что держим в неволе наших братьев, равных нам по происхождению, по крови, по языку. Нет свободы для нас, пока проклятие крепостного состояния тяготит над нами. С Юрьева дня начнется новая жизнь России. С Юрьева дня начнется наше освобождение».

В настоящее время может показаться странным, что, начиная борьбу за уничтожение крепостного права, Герцен прежде всего обратился к тому сословию, которое было наиболее заинтересовано в его сохранении. Всего естественнее

было бы обратиться к тому сословию, которое больше всех других страдало от крепостничества, т.-е. к крестьянству. Но Герцен был по-своему совершенно последователен. Обратиться к крестьянству мог только тот, кто рассчитывал на его способность к политической деятельности. А Герцен совсем на нее не рассчитывал. В его представлении о вероятном развитии России в направлении к социализму, крестьянству отводилась пассивная роль, между тем как «молодому дворянству» принадлежала деятельная роль начинателя. Что же касается вопроса о том, не противоречит ли выставленная Герценом программа освобождения крестьян сословным интересам дворянства, то он разрешался надеждой на способность передовой части этого сословия подняться выше этих интересов. И так смотрел не один Герцен. С ним был безусловно согласен его друг Н. П. Огарев.

Во 2-й книге «Полярной Звезды» (1856 г.) напечатана очень интересная статья Огарева, — который подписывался тогда: «Р. Ч.», — озаглавленная: «Русские вопросы». В ней автор спрашивает, между прочим, кого могло бы взять правительство себе в помощники, принимая дело освобождения крепостных людей, и отвечает так:

«Народ плохо может высказать понятие, находящееся у него скорее в степени инстинкта, чутья, а не ясной мысли.

«Большие баре! Люди, у которых по пяти, по двадцати, по тридцати, по полутораста тысяч душ... Но это—люди, никогда не соприкасавшиеся с народом и его потребностями, никогда не мыслившие, привыкшие только тратить огромные с неба валившиеся суммы, не стесняясь ни на волос в самых необузданных капризах. Нет, это плохие советники!..

«Мелкоместное дворянство? Но это—люди, лишенные воспитания, люди, выжимающие из мужика все здоровые соки... Плохие советники!..

«Купечество? Но это—каста, которая рада своей замкнутости и считает себя пауком, а все остальное—мухами, и которая, следственно, мерит благоденствие государства своею прибылью, достигаемою всеми путями неправды. Плохие советники!

«Чиновники?.. Но это—члены одной огромной организации повсеместного грабежа, где окончности пользуются копейками и постепенно к центрам скопляются рубли. Плохие советники!.. Да и попробуйте затронуть их циркулярчики, увидите что значит бюрократическое самолюбие. Плохие советники!

«Остается тот отдел дворянства средней руки, который, с одной стороны, образовался в высших учебных заведениях и привык мыслить, а, с другой стороны, жил в деревнях и знает народ и его потребности и, между тем, не продавал своей совести за места по службе. Да, юному правительству¹ следует обратиться к образованным русским людям не по мере долговременности их службы, а по мере их независимости от службы, не по мере значительности, а по мере незначительности их чина»².

Вся эта аргументация как нельзя более характерна для тогдашних взглядов Огарева и Герцена. Но, по мнению каждого из них, освобождение крестьян должно было явиться лишь первым крупным шагом на пути социалистического развития России. Поэтому, призывая правительство и дворянство к уничтожению крепостного права, Огарев и Герцен старательно оттеняли экономическую самобытность России.

«Нам нечего заимствовать у мещанской Европы,—пишет Герцен.—Мы—не мещане, мы—мужики»³. И эта мысль,—основная мысль всего русского народничества,—подробно обосновывается Герценом в той же статье.

«Мы бедны городами и богаты селами. Все усилия создать у нас городское мещанство в западном смысле приводили до сих пор к тощим и нелепым последствиям. Настоящие горожане наши одни чиновники; купечество ближе к крестьянам, нежели к нам. Помещики, естественно, более сельские жители, нежели городские. Итак, город у нас почти одно правительство, Россия государственная, а село—вся Россия, Россия народная.

¹ Т.-е. правительству имп. Александра II.

² Стр. 274—275. Цитирую по 2 изданию.

³ «Пол. Звезда», кн. 2-я, на 1856 г., изд. 2-е. Статья, подписанная «И-р», под заглавием: «Вперед! Вперед!», стр. VII и VIII.

«Нашу особенность, самобытность составляет деревня с своей общинной самозаконностью, с мирской сходкой, с выборами, с отсутствием личной поземельной собственности, с разделом полей по числу тягол. Сельская община наша пережила ту эпоху тяжелого государственного роста, в которой обыкновенно общины гибнут, и уцелела в двойных целях (очевидно: цепях. Г. П.), сохранилась под ударами помещичьей власти и чиновничьего грабежа»¹.

Мысль об экономической самобытности России, дающей нам возможность миновать «мещанскую» дорогу западно-европейского развития, до такой степени занимала Герцена, что он нашел нужным высказать ее даже в одном из своих многочисленных писем к имп. Александру II. Я имею в виду письмо по поводу известной книги барона Корфа о восшествии на престол имп. Николая I. Сказав в нем, что нам даром достаются истины и результаты, до которых западные народы доработались посредством междоусобий и тяжелых утрат, он прибавляет:

«На своей больничной койке Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно приобретенную, указывает как единый путь спасения именно на те элементы, которые сильно и глубоко лежат на народном характере и притом не одной Петровской России, а всей русской России. Поэтому мы думаем, что у нас развитие пойдет иным путем»².

XI.

Первым условием, необходимым для выступления России на иной путь экономического развития, Герцен и Огарев считали освобождение крестьян с землею. Такая мера предупредит появление в России пролетариата и избавит ее от всех тех страданий и смут, которые последовали за его появлением на Западе.

«...О, моя Россия!—воскликает Огарев в цитированной мною уже статье «Русские вопросы».—Дорого бы я дал, чтобы ты

¹ Там же, стр. VIII.

² «Колокол», № 4.

была избавлена от всех страданий западного развития, бесплодных кровопролитий, раздробления собственности, нищеты пролетариата, формально-законных и человечески несправедливых судов, притеснений, позорного мещанского тиранства, лицемерия, и развивалась бы ты мирно, путем вечной реформы».

Огарев думает, что, если крестьян освободят без земли, то дворянство «вместо роли образованного класса в государстве разыграет роль западного мещанства», и тогда у нас начнутся смуты, «которых жестокость будет страшная»¹. Опасение этих смут, как видно, занимало большое место в соображениях Огарева и Герцена о русских вопросах. В № 3 «Колокола» (1 сентября 1857 г.), в статье «Правительственные распоряжения», Огарев писал:

«Настоящее правительство, кажется, поняло, что элементов европейской революции в России нет, что ему с этой стороны бояться нечего; но что Россия, изнуренная государственным правительством, поддержанным полицейским насилием, требует возрождения; что если правительство не станет во главе этого возрождения, то оно может наткнуться на иную революцию, совсем не европейскую, а дикую революцию, враждебную образованности; что крестьянская революция в России тем возможней, что войско будет за нее; что нет ни одного государства, где бы войско, несмотря на долговременность службы, было так дружно с народом, как у нас».

Не следует думать, будто «Колокол», в лице Огарева, только на предмет запугивания правительства изображал возможную крестьянскую революцию в России в виде революции дикой и враждебной образованности. Правда, ему, вероятно, не чуждо было желание запугать. Но, судя по тогдашнему образу мыслей Герцена и Огарева, приходится предположить,

¹ Если Герцен и Огарев боялись, что русское дворянство вместо «роли образованного класса в государстве» возьмет на себя роль западного мещанства, то Белинский незадолго до своей смерти пришел к прямо противоположному убеждению: «Теперь ясно видно,—писал он в письме к Анненкову, от 15 февраля 1848 г.,—что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не раньше, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию...».

что желание это выразилось в указанной статье лишь в очень незначительном преувеличении шансов крестьянской революции («крестьянская революция тем возможней, что... и т. д.); а изображение этой революции в виде дикого, стихийного явления вполне соответствовало, надо думать, убеждению издателей «Колокола».

Мы видели выше, что Герцен отнюдь не был принципиальным сторонником классовой борьбы. Если он утверждал, что на Западе мещанство может быть побеждено только рабочей революцией, то в этом его убеждении выражалось его разочарование в Западной Европе. А, кроме того, он думал, что и на Западе рабочая революция может оказаться неизбежной лишь вследствие неразвитости народных масс. На этот счет не оставляет никакого сомнения следующее место в статье Герцена: «Еще вариация на старую тему»:

«Вопрос о будущем Европы я не считаю окончательно решенным; но добросовестно, с покорностью перед истиной и скорее с предрассудками в пользу Запада, чем против него, изучая его десятый год не в теориях и книгах, а в клубах и на площади, в средоточии всей политической и социальной жизни его, я должен сказать, что ни близкого, ни хорошего выхода не вижу. Стоит взглянуть, с одной стороны, на горячее, одностороннее развитие промышленности; на сосредоточение всех богатств, нравственных и вещественных в руках меньшинства среднего состояния; на то, что оно захватило в руки церковь и правительство, машины и школы; что ему повинуются войска, что в его пользу судят судьи; и, с другой стороны, глядя на неразвитость масс, на незрелость и шаткость революционной партии, я не предвижу без страшнейшей, кровавой борьбы близкого падения мещанства и обновления старого государственного строя»¹.

При всем своем разочаровании в Западной Европе Герцен не мог, однако, не видеть, что русская народная масса менее развита, нежели, например, французская или немецкая. Стало быть, русский народный взрыв должен был представляться ему еще менее «хорошим выходом», нежели народное

¹ Соч., т. X, стр. 285.

восстание в той или другой западной стране. Наши народники 70-х годов смотрели на этот предмет совершенно иначе. Их совсем не огорчала борьба классов на Западе, а крестьянская революция, на подготовку которой они направляли все свои усилия, отнюдь не рисовалась их фантазии в виде «дикого, враждебного образованности» народного движения. В этом они очень разошлись с Герценом и Огаревым. Но это все-таки частности, хотя и очень важная с тактической точки зрения. Что же касается основных теоретических взглядов,—например, взгляда на вопрос об экономической самобытности России и о том пути развития, по которому ей надлежит идти,—то народники 70-х г.г. целиком заимствовали их, хотя и не вполне сознательно, у Герцена и Огарева. Поэтому мы имеем полное право сказать, что уже в первых своих произведениях, напечатанных в «Вольной лондонской типографии», Герцен и Огарев выступили как родоначальники русского народничества. В этом качестве родоначальников русского народничества они предприняли свой публицистический поход против крепостного права.

Вся литература «русского социализма» 70-х и 80-х г.г. являлась лишь повторением тех теоретических взглядов, проповедь которых начата была еще накануне крестьянского освобождения Герценом, Огаревым и их единомышленниками¹. До какой степени это так, видно, например, из следующего.

¹ О социалистической литературе 60-х г.г. это можно сказать лишь в той мере, в какой она не подчинялась влиянию Чернышевского, во многом расходившегося с Герценом. Известно, что он даже полемизировал с издателем «Колокола» по вопросу об отношении России к западу. См. его статью: «О причинах падения России». В свою очередь, Герцен считал Чернышевского сторонником «чисто-западного социализма», служившего, как он думал, «дополнением русскому социализму». Он говорил, что среда Чернышевского «была городская, университетская среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодования; она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата и интеллигенции». Напротив, русским социализмом был в глазах Герцена «тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владения и общинного управления—и идет вместе с рабочей артелью навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще и кото-

Известно, что наши самообытные «социологи» 70-х г.г. много потрудились над выработкой «формулы прогресса». Но и тут все их выводы предупреждены были кружком Герцена и Огарева. В статье: «Место России на всемирной выставке» Н. Сазонов, отвечая на вопрос, «в чем состоит просвещение истинно-человеческое», писал:

«Развитие личности посредством и для отношений более и более разнообразных, более и более сложных к другим людям и к целому миру. Чем эти отношения обширней и, вместе с тем, сознательнее, тем правильнее, тем личность чувствует себя возвышеннее, определеннее, тем более достигает истинной свободы, т.е. сознательного и ревностного исполнения непреложных законов природы»¹.

Вспомните «формулу прогресса» покойного Ник. Михайловского и сопоставьте ее с тем, что говорит здесь Н. Сазонов; вы увидите, что разница заключается лишь в названии, так как один называет прогрессом именно то, что у другого называется просвещением. А по содержанию своему «прогресс» Ник. Михайловского явился лишь новым изданием «просвещения» Н. Сазонова. Обращаю на это внимание глубокомысленного г. Иванова-Разумника. Н. Сазонов находил, что в «настоящий момент своего развития западноевропейское человечество» идет по такой дороге, которая совершенно противоположна пути истинного просвещения. Россия была, по его мнению, гораздо ближе к этому пути. Если она отстала от Запада в промышленном отношении, то «потому только, что промышленность теперь в эпоху буржуазной, а в России буржуазии нет». Это тоже чисто народническое рассуждение².

Западники—и между ними И. С. Тургенев—упрекали Герцена в том, что его воззрение на Россию сближало его со

рую подтверждает наука» («Колокол», № 233—234). Излишне прибавлять, что представителями этого социализма Герцен считал себя и Огарева.

¹ «Пол. Звезда», 2-я кн., 2 изд., стр. 228.

² Н. Сазонов кое в чем расходился с Герценом. Но у них, как видим, был совершенно одинаковый взгляд на отношение России к Западу.

славянофилами. «Упреки эти сами собою свидетельствуют, — возражал он им, — что усобица ваша с московскими староверами не улеглась; это жаль». Борьба со славянофилами потеряла интерес и смысл после смерти имп. Николая. Герцен с ужасом отвергает некоторые практические стремления славянофилов: «от них веет застенком, рваными поздрами, епитимией, покаянием, Соловецким монастырем». Тем не менее, он признает, — «я никогда не отрицал, — говорит он, — что у славян есть верное сознание живой души в народе». Притом он находил, что обычные доводы западников против славянофилов совершенно выдохлись. Нельзя сбить славянофилов с их позиции примером Запада, «когда достаточно одного номера любой газеты, чтобы увидеть страшную болезнь, от которой ломится Европа. Западные любят европейские идеи». Герцен тоже любит их, так как это идеи всей истории и так как без них мы впали бы в азиатский квиетизм, в африканскую тупость. Только эти идеи помогут России войти во владение достоящимся ей историческим наследством. «Но, — говорит Герцен, обращаясь к западникам, — вам не хочется знать, что теперешняя жизнь в Европе не сообразна с ее идеями. Вам становится страшно за них; идеи, не находящие себе осуществления дома, кажутся вам нигде не осуществляемыми». Этого страха Герцен не разделяет. Анализируя русский народный быт, он находит в общине залог осуществимости социальных идей, выработанных на Западе¹. Он сходится со славянофилами только во взгляде на Запад и на значение русской общины. Зато с этой стороны он подходит к ним совсем близко. Сознание этой близости выразилось в его собственных словах, с которыми он через несколько лет после изложенного здесь спора с западниками обратился к одному из своих противников со славянофильской стороны.

«Год тому назад² я встретил на пароходе между Неаполем и Ливорно русского, который читал сочинения Хомя-

¹ См. ст.: «Еще вариация на старую тему». Статья эта, подписанная 3-го февраля 1857 г., перепечатана в загр. изд. соч. Герцена, т. X, стр. 281—297.

² Герцен писал это в октябре 1864 г.

кова в новом издании. Когда он стал дремать, я попросил у него книгу и прочел довольно много. Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный и освещая дневным светом то, что у Хомякова освещено паникадиллом, я ясно видел, как во многом мы одинаким образом поняли западный вопрос, несмотря на разные объяснения и выводы»¹.

Огарев, занимавшийся в «Полярной Звезде», а особенно в «Колоколе» разработкой частных вопросов «русского социализма», шел в направлении к славянофильству еще дальше, нежели Герцен. Он говорил:

«Совершенно несогласный ни с какой религией, а, следовательно, и с их (т.-е. со славянофильским. Г. П.) преobraженным православием, я, или лучше—мы, тем не менее, искренно, откровенно оставляем за ними название пророков русского гражданского развития»².

Огарев находит зародыш славянофильства уже у декабристов. При этом он указывает на стихотворение А. Одоевского: «Славянское дело». В этом стихотворении есть, пожалуй, некоторый привкус панславизма. Однако на славянофильство, собственно так называемое, в нем нет и намека³.

Много лет спустя И. Аксаков называл наше народничество непоследовательным славянофильством. Так как родоначальниками народничества были Герцен и Огарев, то И. Аксаков не отказался бы, вероятно, распространить свою оценку и на их учение. И надо признать, что в известном смысле он был бы совершенно прав.

¹ «Колокол», № 191: «Письма к противнику».

² См. его интересную статью: «Кавказские воды», в 6-й кн. «Полярной Звезды» на 1861 г., стр. 353.

³ В стихотворении говорится, что

Старшая дева в семействе славяна
Всех превзошла величием стапа

и что она должна спешить в поле с меньшими сестрами, ведя за собой их хоромы и дружно сплетая руки с руками. Старшая дева, это — конечно, Россия. Но отсюда до славянофильства еще очень далеко. Прибавлю еще, что у Герцена мы встречаем признания вроде следующего: «Труды славянофилов подготовили материал для понимания — им принадлежит честь и слава почина» (в статье: «Repetitio est mater studiorum». «Колокол», № 107).

XII.

Первые заграничные издания Герцена не встретили никакого сочувствия в России¹. Положим, часть помещиков уже понимала, что при экономических отношениях, сложившихся к половине XIX века, крепостное право переставало быть необходимым условием материального благосостояния дворянства. Это подтверждается, между прочим, любопытным свидетельством министра внутренних дел Перовского.

В своей записке об уничтожении крепостного права, поданной императору Николаю еще в 1845 году, Перовский говорил, что крестьянский вопрос сделался «одним из довольно обыкновенных предметов беседы в образованных состояниях»²... По свидетельству того же министра, «состояния» эти не обнаруживали страха при мысли об отмене крепостного права.

«Время и новые отношения, — говорит он, — вовсе изменили взгляд образованных помещиков на крепостное право: они, конечно, опасаются последствия свободы, зная необузданность народа, вышедшего однажды в каком-либо отношении из своего обычного положения и из пределов повиновения; но владельцы ныне уже вовсе не боятся утраты своего достоинства от дарования людям свободы. Помещики сами начинают понимать, что крестьяне тяготят их и что было бы желательно изменить эти обоюдно невыгодные отношения»³. Перовский очень метко указывает, что к такому взгляду привели помещиков повысившиеся цены земли и удачные опыты применения наемного сельскохозяйственного труда в губерниях Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской и некоторых других. Но он замечает, что, хотя большая половина нашего дворянства не опасается

¹ «Мы должны были умолкнуть в начале 1854 г.», говорит он в статье: «К нашим», — «Пол. Звезда», кн. I, изд. 2, стр. 230.

² В. И. Семевский, Крестьянский вопрос в России и т. д., т. II, стр. 135 — 136.

³ Там же, стр. 138.

утраты своего достоинства от уничтожения крепостного права, однако она «страшится последствий переворота, коих всякий благоразумный человек, знающий народ и его понятия и склонности, должен опасаться»¹.

При таком настроении дворянства трудно было ожидать, чтобы оно откликнулось на призыв эмигранта, сочинения которого ввозились в Россию, — поскольку ввозились, — как запрещенный товар. Но свидетельство Перовского относится к 1845 году, а в то время, когда появились первые заграничные издания Герцена, настроение дворянства стало еще более консервативным. Испуганное обострением классовой борьбы на Западе, выразившимся в революции 1848—1849 г.г., наше «общество» хотело одного: тишины и порядка. Даже И. Киреевский писал в апреле 1848 г. М. П. Погодину, что «мы можем предъявить правительству только два требования: во-первых, чтобы оно не вмешивало нас в бесполезную войну; во-вторых, чтобы оно не возмущало народ ложными слухами о свободе и не вводило никаких новых законов, покуда не утишатся дела на Западе»².

Это было именно то время, когда общество, по выражению цензора Никитенко, быстро погружалось в варварство. И этот упадок общественного настроения не остался без влияния даже на ближайших друзей Герцена. Они отнеслись несочувственно к его плану заграничных изданий. Осенью 1853 года в Лондон приехал старый его приятель, известный артист М. С. Щепкин. Он уговаривал изгнанника прекратить свою, как сказали бы теперь, подпольную деятельность. «Какая может быть польза от вашего печатания? — говорил он ему. — Вы сгубите бездну народа, сгубите ваших друзей. Я стал бы на свои старые колени перед тобой, стал бы просить тебя остановиться, пока есть время». Герцен не пожелал покинуть подполье, но ему, вероятно, довольно долго пришлось бы ждать сочувственного отклика с родины, если бы не Крымская война. Смерть Николая I и падение Сева-

¹ В. И. Семевский, цит. соч., т. II, стр. 138.

² Соч. И. В. Киреевского, Москва 1911 г., т. II, стр. 249.

стополю расшевелили общественное мнение в России и сообщили Герцену новые надежды. Тогда-то он и приступил к изданию «Полярной Звезды» и потом «Колокола».

В первой же книжке «Полярной Звезды» Герцен обратился к новому царю с открытым письмом, заключавшим в себе целую программу реформ.

«Государь, — писал он, — дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно, мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора, она стонет в цензурных колодках. Дайте нам вольную речь... нам есть что сказать миру и своим.

«Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братьев — эти страшные следы презрения к человеку.

«Торопитесь. Спасите крестьянина от будущих злодейств, спасите его от крови, которую он должен будет пролить...

«... Я стыжусь, как малым мы готовы довольствоваться; мы хотим вещей, в справедливости которых вы так же мало сомневаетесь, как и все.

«На первый случай нам и этого довольно...»

После всего сказанного мною выше, надеюсь, вполне понятно, почему освобождение крестьян с землею явилось средоточием программы Герцена. Но, если это требование характерно для «социальных» взглядов нашего великого публициста, то обращение к новому императору не менее характерно для его политического образа мыслей.

Коснувшись студенческих годов Герцена и его увлечения Сен-Симоном, я заметил, что он впоследствии повторил в своей публицистической деятельности ошибку Сен-Симона, состоявшую в неясном понимании причинной связи между «экономикой» и «политикой». Я тогда же прибавил, что ошибка эта была свойственна не одному Сен-Симону, а всем социалистам-утопистам. Теперь пора дополнить это тем указанием, что она в высшей степени свойственна была, между прочим, Прудону, сильное влияние которого испытал на себе Герцен в первые годы пребывания своего за границей.

Великий русский публицист с похвалой говорит о Прудоне: «Политика, в смысле старого либерализма и конститу-

ционной республики, стоит у него на втором плане, как что-то полупрошедшее, уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому что не приписывает особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны».

Герцен, в эпоху расцвета своей публицистической деятельности, тоже смотрел на политику как на что-то полупрошедшее, полууходящее. Этим объясняется его обращение к правительству. Он делал «огромные» уступки именно потому, что политические формы и в его глазах не имели существенного значения.

Только этим и может быть объяснен, например, такой факт, что в той же самой книжке «Полярной Звезды», в которой появилось письмо Герцена к императору Александру II, напечатана статья А. Таланде: «Нет социализма без республики». Герцен, справедливо считавший себя неискоренимым социалистом, по всей вероятности, разделял в теории этот взгляд Таланде, но не считал нужным руководиться им на практике в то время, когда для России открывалась, по его мнению, возможность сделать первые крупные шаги по пути к социализму. Это могло бы показаться странным, если бы мы не знали, что он, подобно Прудону, был к политическим вопросам «равнодушен» и готов был делать уступки, «потому что не приписывал особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны».

XIII.

Еще раз: это — ошибка. «Политика» — вовсе не второстепенное дело. Всякая данная политическая власть вырастает на почве данных классовых отношений, сводящихся, в последнем счете, к отношениям собственности. Природою классовых отношений, существующих в данное время в данной стране, определяется природа существующей в ней политической власти. А природа этой власти, в свою очередь, определяет собою то, что может быть ею сделано по части общественного преобразования. Нельзя было ожидать, что политическая власть,

исторически сложившаяся и окрепшая как выразительница интересов дворянского сословия, возьмется за реформы, не-согласимые с существенными интересами того же сословия. А издатели «Колокола» именно этого ждали и требовали от тогдашней русской власти. Тем самым они готовили себе целый ряд жестоких разочарований. Разочарования пришли очень скоро. Но пока что—и это очень интересный факт!—ошибка Герцена послужила ему на пользу в том смысле, что она расширила круг его влияния.

В августе 1857 г. К. Д. Кавелин, еще не знавший, что 1 июня того же года вышел первый номер «Колокола», писал Герцену, советуя ему приступить к изданию боевого органа. «Но,—прибавлял он,—орган должен быть непременно умеренный, который через это получил бы возможность входить во все интересы, служить органом для всех мнений. Политический вопрос мало занимает наше общество, как это ни покажется тебе странным. Но административные, социальные, церковные—очень много. В управлении хаос, нелепость, бессмыслица достигли до Геркулесовых столбов, а хлестать их примерами негде». Русское общество мало занималось «политическим вопросом» по своей политической неразвитости, а Герцен отводил ему второстепенное значение, потому что смотрел на него с точки зрения Прудона.

Разные причины привели к одинаковым следствиям: «Колокол» поставил на передний план «административные и социальные» вопросы, наиболее интересовавшие русских читателей того времени. Впоследствии оказалось, что неисправимый социалист Герцен не мог решать эти вопросы в том смысле, в каком хотелось решить их большинству его временных поклонников. И тогда эти временные поклонники отвернулись от «Колокола». Но сначала их увлекла умеренность герценовой программы. А. М. Унковский говорит в своих воспоминаниях, что в Твери в течение 2—3 лет у большинства дворян совершенно переменялся весь образ мыслей под влиянием «Колокола». Можно подумать, что под влиянием «Колокола» тверские дворяне перестали быть дворянами. В действительности это было, конечно, не так. Мы знаем, что даже знаменитые тверские либералы очень недурно отстаивали свои

дворянские интересы¹. Но до поры до времени они не замечали, что при всей умеренности своей программы Герцен смотрел на «административные и социальные» вопросы совсем не их глазами. Не замечал этого и Герцен.

Когда Александр II заявил в своей московской речи, что лучше освободить крестьян сверху, нежели ждать, пока они начнут освобождать себя снизу, Герцен откликнулся на эти его слова (в № 2 «Колокола», от 1-го августа 1857 г.) передовой статьей: «Революция в России». «Мы не только накануне переворота, но мы вошли в него,—писал он.—Необходимость и общественное мнение увлекли правительство в новую фазу развития, перемен, прогресса. Общество и правительство натолкнулись на вопросы, которые вдруг получили права гражданства, стали неотлагаемы. Эта возбужденность мысли, это беспокойство ее и стремление вновь разрешить главные задачи государственной жизни, подвергнуть разбору исторические формы, в которых она движется,—составляют необходимую почву всякого коренного переворота».

Герцен предвидел то возражение, что коренные общественные перевороты представляют собою результат взаимной борьбы общественных сил, т. е. такого состояния общества, острых признаков которого не было заметно в тогдашней России. На это он отвечает, что в России издавна все шло не так, как на Западе, не снизу, а сверху: единственный коренной переворот, пережитый ею, был совершен царем Петром I. «Мы так привыкли,—продолжает он,—с 1789 г., что все перевороты делаются взрывами, восстаниями, что каждая уступка выры-

¹ Так, тот же А. М. Унковский, в своей записке по крестьянскому делу, поданной Александру II в декабре 1857 г., утверждал, «что ценность всякого населенного имения, состоящего на крепостном праве, заключается не в одной земле, но и в людях, за которых помещик должен быть так же вознагражден, как и за землю, тем более, что в некоторых местностях земля без людей не имеет никакой ценности». Унковский находил только, что выкуп за крестьянские души должен быть уплачен не одними этими душами, а «всеми сословиями государства». А. М. Унковский был одним из самых либеральных дворян того времени (его записка перепечатана в восторженной, по обыкновению, книге Г. р. Д ж а н ш и е в а: «А. М. Унковский и освобождение крестьян». М. 1894 г., стр. 58—71).

вается силой, что каждый шаг вперед берется с боя,— что невольно ищем, когда речь идет о перевороте: — площадь, баррикады, кровь, топор палача. Без сомнения, восстание, открытая борьба, одно из самых могущественных средств революции, но отнюдь не единственное». Герцен заявляет от имени редакции «Колокола», что она от души предпочитает путь мирного человеческого развития пути развития кровавого¹...

На известный рескрипт Назимову от 20 ноября 1857 г. «Колокол» (№ 7) ответил статьей: «Освобождение крестьян», в которой говорится:

«Мы хотели следить за всеми подробностями правительственных распоряжений за прошлый год, но подробности исчезают перед великими событиями, которые совершаются в отечестве, и вместо преследования мелких частных мы начинаем 1858 год приветствием Александру II за начало освобождения от крепостного состояния. Мы убеждены, что он равнодушно примет это горячее приветствие людей, которым не нужно его бояться, которые для себя лично ничего от него не ждут и ничего не просят, приветствие свободных людей русских—царю, уничтожающему рабство. Мы счастливы, что можем этим начать новый год: да будет он, действительно, новый эрой для России».

Статья эта принадлежит не Герцену, а Огареву, но это и здесь все равно, так как, повторяю, Герцен держался совершенно таких же взглядов, что лучше всего видно из знаменитой статьи: «Через три года», напечатанной в № 9 «Колокола», от 15 февраля 1858 г. Герцен обращается в ней к Александру II со словами: «Ты победил, Галилеянин! И нам легко это сказать потому, что у нас в нашей борьбе не

¹ Его слова о том, что восстание является одним из самых могущественных средств революции, как бы противоречат тому, что сказано мною выше об его отношении к классовой борьбе. Но во-1-х, «одно из самых могучих» — еще не значит «одно из самых лучших». Во-2-х, в революции 1848—1849 г.г. Герцена смущало не то обстоятельство, что революция эта была насильственной, а то, что эта насильственная революция была выражением классовой борьбы, приведшей к расхождению между «образованным классом», с одной стороны, и пролетариатом—с другой. В революции 1789 г. он такого расхождения не видел.

замешано ни самолюбие, ни личность. Мы боролись из-за дела; кто это сделал, тому и честь». Далее в статье говорится, что с тех пор, как Александр II всенародно показал себя сторонником освобождения крестьян, его имя принадлежит истории, и что этого шага его не забудут грядущие поколения. По мнению Герцена, Александр II столько же явился наследником 14 декабря, как и Николая. Статья заканчивается теми же словами, какими и начинается: «Ты победил, Галилеянин!»...

Не мешает здесь же напомнить следующий эпизод с подписью Огарева. До № 9 «Колокола» он подписывал свои статьи буквами Р. Ч., но в № 9 он заявил, что ему больно прятаться от Александра II под псевдонимом, и что поэтому впредь его статьи будут подписаны его настоящим и полным именем¹. Дальше этого умиление идти не могло.

XIV.

Уже в то время такое умиление разделялось, как видно не всеми. Но неоспоримо, что его разделяли очень и очень многие и что к числу разделявших его принадлежал насмешливый Н. Г. Чернышевский. По поводу тех же шагов нового правительства он писал:

«Блистательные подвиги времен Петра Великого и колоссальная личность самого Петра покоряют наше воображение; неоспоримо громадно и существенное величие совершенного им дела. Мы не знаем, каких внешних событий свидетелями поставит нас будущность. Но уже одно только дело уничтожения крепостного права благословляет времена Александра II славою, высочайшею в мире. Благословение, обещанное ми-

¹ Это было в феврале 1858 г. А в апреле 1859 г. Огарев на правительственное приглашение вернуться в Россию отвечал в письме к императору: «Я возвращусь, когда в России будет властвовать Ваша освобождающая воля, а не произвол сановников своекорыстных, неправосудных и бездарных, застилающих от Вас правду и живую жизнь народа».

ротворцам и кротким, увенчивает Александра II счастьем одному начать и совершить освобождение своих подданных»¹.

Если Герцен, обращаясь к Александру II, повторял слова, приписываемые Юлиану Отступнику, то Чернышевский взял эпиграфом своей статьи слова псалмопевца: «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазаша Бог твой».

Чернышевский скоро стал отзываться о ходе крестьянской реформы совсем иначе. «Колокол» Герцена уже в конце 1858 г. тоже начал издавать звуки, совсем не соответствующие только что изображенному мною радужному настроению. В № 25 (от 1 октября 1858 г.) в письме к редактору, мы читаем: «Напрасно сохранять еще веру в Александра. Как ни тяжело сознаться в своей ошибке, но полно ребячиться, теперь не до того». Редакция снабдила это письмо примечанием, в котором благодарила автора за его письмо. Однако еще в № 60, от 1-го января 1860 г., Герцен, признаваясь, что вступает в новое десятилетие не с такой твердой надеждой, с какой он встретил «эпоху возрождения» России, обращается к императору с настоятельным призывом.

«Государь,—воскликает он,—проснитесь! Новый год пробыл нового десятилетия, которое, может, будет носить ваше имя; но, ведь нельзя же одной и той же рукой ярко и светло записывать свое имя в истории как освободитель крестьян и подписывать... повеления против свободной речи и против молодости—юношей. Вас обманывают, вы сами обманываетесь—это Святки, все наряженные. Велите снять маски и посмотрите хорошенько, кто друзья России и кто любит только свою частную выгоду. Вам это потому вдвое важнее, что еще друзья России могут быть и вашими. Велите же скорее снять маски...» и т. д.

В номере 95, от 1-го апреля следующего года, в статье: «Манифест» новое и еще более сочувственное обращение к Александру, которого автор статьи приветствует именем Освободителя: «Освобождение крестьян только началось с про-

¹ Соч. Н. Г. Чернышевского, Спб. 1906 г., т. IV, стр. 54. Статья: «О новых условиях сельского быта».

возглашения манифеста. Не отдых, не торжество ждет государя, а упорный труд; не отдых, не воля ждет народ, а новый, страшный искуc. Скорее, скорее второй шаг!»

В августе 1862 года Герцен, оправдываясь от упрека в том, что он потерял всякую веру в насильственные перевороты, доказывает, что у нас всего можно ожидать от государственной власти.

«Императорская власть у нас—только власть, т. е. сила, устройство, обзаведение; содержания в ней нет, обязанностей на ней не лежит, она может сделаться татарским ханатом и французским комитетом общественного спасения,—разве Пугачев не был императором Петром III?»¹. Ввиду таких неограниченных возможностей передовые общественные деятели России обязаны употребить все усилия для того, чтобы направить правительство на надлежащий путь. «Но для того, чтобы власть царская стала властью народной, ей надобно понять, что волна, которая ее подмывает и хочет поднять,—в самом деле волна морская, что ее нельзя ни остановить, ни сослать в Сибирь, что прилив начался и что несколько раньше, несколько позже, а ей придется сделать выбор между кормилом народной державы и илом морского дна. Свидетельствуйте об этом всеми свидетельствами, кричите ей об этом денно и нощно... Пусть она выскажется—и только после ее ответа вы узнаете, что говорить народу и к чему его звать».

Только убеждением Герцена в том, что в России перед верховной властью лежат неограниченные практические возможности, объясняются постоянные его обращения к ней даже по таким поводам, которые не имели никакого отношения к общественно-политическим вопросам². В мае 1865 г. («Коло-

¹ В одном из своих «Писем к путешественнику» («Колокол», № 203) Герцен говорит, что у нас императорская власть есть нечто чисто внешнее. Это вполне соответствует указанной мною неясности его взглядов на политику.

² Кстати, современная общественная наука вовсе не признает только что указанных неограниченных возможностей. Но ошибку Герцена повторил не далее как в начале 80-х гг. Н. К. Михайловский. Это видно из статьи Н. Я. Николадзе: «Освобождение Н. Г. Черны-

кол» № 197) он обратился открытым письмом к Александру II по случаю смерти цесаревича Николая.

«В жизни людской есть минуты,—говорил он там,—грозно торжественные: в них человек пробуждается от ежедневной суеты, становится во весь рост, стряхает пыль—и обновляется. Верующий—молитвой, неверующий—мыслью. Минуты эти редки и невозвратимы. Горе, кто их пропускает рассеянно и бесследно! Вы в такой минуте, государь,—ловите ее. Остановитесь под всею тяжестью удара с Вашей свежей раной на груди и подумайте только без сената и синода, без министров и штаба, подумайте о пройденном—о том, где Вы и куда идете». Однако подобные обращения постепенно становились все реже и реже. Крестьянская реформа совершалась далеко не так, как этого хотелось издателям «Колокола». Уже в июне 1861 г. они заявляют, что такого уродливого хода

шевского, напечатанной в сентябрьской книжке «Былого» за 1906 г. Когда Н. Я. Николадзе выразил Михайловскому свое удивление по поводу того, что представляемые им люди не выдвинули (в том случае, который описывается в статье) политических требований, т.-е. «конституции»,—тот ответил ему, «что теперь настроение партии менее приподнятое, и она уверилась, что политические формы приведут к упоренно во власти не народолюбцев, а только буржуазии, что составит не прогресс, а регресс» (стр. 255—256). Если так могли рассуждать «русские социалисты» в 80-х гг., то можно ли удивляться тому, что писал Герцен в конце 50-х. Он был далеко не первым социалистом, обращавшимся к верховной власти. Социалисты утопического периода, смотревшие на политику сверху вниз и не стеснявшиеся в своих политических приемах, очень любили подобные обращения. Для примера я уже указывал на Сеп-Симона. Не приводя других примеров, укажу на самый главный. Книга Прудона: «La révolution sociale démontrée par le coup d'état du 2 Décembre», написанная сейчас же после декабрьского переворота, представляет собою поучительную попытку обращения правительства Наполеона III на путь социальной революции. К чести Герцена надо сказать, что насчет этого правительства у него никогда не было никаких иллюзий. Но все-таки можно думать, что попытка не осталась без влияния на тактику нашего великого публициста. Прудон говорил, что социалистам все равно, кто бы ни сделал социальную революцию: Луи-Наполеон, потомок Карла X, потомок Луи-Филиппа или, наконец, еще ктонибудь другой (см. 5 изд. назван. книги, стр. 12—13). Герцен согласился с такой постановкой вопроса, хоть и не вполне.

дела они не ожидали. И тогда же Огарев начинает доказывать, что реформа 19 февраля не освободила крестьян, а создала новое крепостное право. Около того же времени редакция «Колокола» дает новое и гораздо более радикальное выражение своим требованиям. Она формулирует их в часто повторявшихся потом словах: «земля и воля». С этим новым девизом она обращается уже не к правительству, а к тому слою, который стали впоследствии называть у нас революционной интеллигенцией, т.-е., точнее, к образованным разночинцам.

Вообще надежда на образованных разночинцев росла у Герцена и Огарева в той самой мере, в какой падала их надежда на правительство и на дворянство. Но прежде, нежели говорить об этом, надо подробнее рассмотреть, каков был взгляд редакции «Колокола» на освобождение крестьян с землею и как изменялся он под влиянием событий.

XV.

Читатель помнит, что, говоря в первом своем письме к императору Александру II о необходимости освободить крестьян с землею, Герцен тут же прибавляет: «она и так им принадлежит». Но это не значит, что он требовал утверждения за ними права собственности на землю без вознаграждения помещиков. Напротив, уже в «Полярной Звезде» на 1856 год Огарев в цитированной мною выше статье: «Русские вопросы» говорил о выкупе крестьянской земли. «Вознаграждение помещиков посредством банковых или иных операций можно же придумать,—замечал он,—заставить над этим вопросом потрудиться свежих образованных людей». Таких-то людей и надо было искать, по его тогдашнему мнению, в среднем дворянстве. В № 14 «Колокола» он же поместил статью: «Еще об освобождении крестьян», в которой категорически заявлял, что «освободить крестьян с землею так, чтобы интерес помещика не пострадал, можно только посредством выкупа».

Основываясь на трудах Кеппена и Тенюборского, Огарев делал расчет, согласно которому у нас было:

Всей помещичьей земли	106.228.520 дес.
Из них неудобной	25.190.270 „
Итого удобной	81.038.250 дес.
Число крепостных ревизских душ, заложенных в кредитных учреждениях	5.945.533
Свободных от залога	5.124.528
Итого	11.070.061
У крестьян в пользовании помещичьей земли удобной и под селениями всего	33.000.000 дес.
Затем, у помещиков в своем пользовании удоб- ной земли	48.038.250 „
Неудобной	25.190.270 „

На основании этого расчета Огарев заключал, что «выкупить надо 33.000.000 дес. (sic!) с их населением». За это дело должен был взяться Опекунский Совет. По установившейся практике, этот последний выдавал помещикам под залог их имений по 70 руб. серебром на душу, при чем вся земля имения поступала в залог. Согласно проекту Огарева, Опекунский Совет должен был выдавать по 70 рубл. серебром на душу, «при том количестве земли, которою крестьяне в сию минуту de facto владеют, т.е. на которой живут и которую обрабатывают для себя». Не имея денег, Опекунский Совет выдал бы помещикам векселя на себя, а сам взыскивал бы с крестьян по 70 рубл. серебром с души в течение 37 лет, взимая по 5 % ссуды по 1 % в год капитала. Таким образом вся выкупная операция была бы закончена в течение 37 лет. Считая по 70 р. серебром на 11.000.000 душ, Совет должен был выдать помещикам векселями на себя 770.000.000 рублей серебром.

Этот проект Огарева, конечно, одобренный Герценом, вызвал интересную полемику на страницах «Колокола». В № 18 появилось «Возражение на статью «Колокола». «Et tu quoque, Brute! — писал неизвестный автор. — Как! И «Колокол» требует, чтобы русский мужик выкупил свои человеческие права с клочком, потом и кровью орошенной им и его предками земли. Et tu quoque, Brute! Но скажите, ради Бога, как, почему, за что

крестьянин должен нести бремя выкупа, как бы он маловажен ни был?»

Неизвестный автор выдвигает против идеи выкупа то соображение, что у нас не было завоевания, а следовательно, и феодализма. Если Н. П. Погодину случилось прочесть этот № «Колокола», то он, надо думать, очень удивился, встретившись с такой своеобразной утилизацией своей философии русской истории.

Неизвестный автор совершенно справедливо находил, что при предстоявшем освобождении крестьян надо было всячески стараться облегчать переход их в вольное состояние.

Но подать, взимаемая с них за освобождение, затруднила бы переход их в это состояние, и уже по одному этому ее следовало бы отвергнуть. Но он не ограничился этим соображением. Он указывал на то, что, по проекту Огарева, выкупная сумма должна была уплачиваться в продолжение 37 лет. «В каком же положении, — спрашивал он, — должен оставаться крестьянин во все это время? Останется ли он прикрепленным к земле до тех пор, пока весь выкуп его совершится? Одним словом, будет ли он вольным человеком в продолжение сих 37 лет?»

Проекту Огарева автор противопоставлял свой собственный.

Он заключался в том, чтобы из всей земли каждого селения, за исключением лесов, разделить третью часть и безвозмездно предоставить ее сельской общине. Часть эта ни в каком случае не должна превышать 3-х десятин на тягло. Автор хорошо понимал, что такой надел очень не велик, но утешал себя и читателя тем соображением, что самая ограниченность надела имеет свою относительную выгоду. «Во-1-х, она лишает помещика, по возможности, самой меньшей части земли; и, во-2-х, обеспечивает более или менее, по крайней мере, прокормление крестьян, их насущный хлеб...», она указывает им на необходимость искать дальнейших средств существования в найме земли помещичьей». Это несколько неожиданная аргументация показывает, что, отстаивая интересы крестьян, неизвестный автор возражения помнил и об интересах помещиков.

Отвечая на изложенное здесь возражение, Огарев прежде всего заявлял, что внутренне он совершенно согласен на безвозмездное наделение крестьян землею. Такой проект благороден, и трудно не сочувствовать ему. Беда лишь в том, что он не осуществим.

«Большинство помещиков не согласится не только на безвозмездное наделение землею, но едва согласится на выкуп: оно слишком завязло в любви не к одному землевладению, но и к рабовладению. Значительное меньшинство тотчас согласится на выкуп; но на безвозмездное наделение землею согласится разве только несколько отдельных личностей».

Впрочем, Огарев не хочет защищать и свой проект, так как хорошо сознает его недостатки. Единственное, что он отстаивает в нем, «это — мысль о выкупе крестьян с землею посредством финансовой меры. Она у нас развивается, и на ее основании растет будущность нашей крестьянской общины»¹.

Эти доводы Огарева не убедили неизвестного автора. В №№ 40 — 41 «Колокола» он напечатал новое возражение Огареву. Тут он соглашался дать помещикам около 300.000.000 рубл. серебром в виде вознаграждения за землю, но и это «не без колебания», так как у России было, по его словам, много других потребностей, совершенно не удовлетворенных². Но редакция «Колокола» твердо держалась идеи выкупа. В приложении к № 44 своего издания она поместила новый проект освобождения помещичьих крестьян.

Он состоит из двух частей. В первой говорится о том, что нужно сделать; во второй — о том, как это сделать.

Первая часть по своему так замечательна, что должна быть воспроизведена здесь целиком:

«1) Сохранить общинное владение землей и все общинное устройство при освобождении помещичьих крестьян.

«2) Освободить помещичьих крестьян с землею целыми общинами, но не отдельными лицами или семействами.

¹ «Колокол», № 38, 15 марта 1859 г.

² Надо заметить, впрочем, что он и прежде соглашался дать 30 или 40 миллионов рубл. сер. на вспомоществование мелкопоместным помещикам.

«3) Произвести полное освобождение разом, без всякого переходного состояния.

«4) Предоставить во владение общины то самое количество земли, которым она пользовалась по сие время.

«5) Произвести освобождение одновременно и в один день по всей России.

«6) Произвести освобождение полное, т.-е. чтобы освобождением прервать всякие обязательные отношения крестьян к помещику и поставить освобожденных крестьян в те же условия, в каких находятся крестьяне государственные.

«7) Строго сохранить при освобождении интересы помещиков и крестьян.

«8) Чтобы удовлетворить всем вышеозначенным условиям, освобождение может быть произведено только выкупом.

«9) Должны быть выкуплены как земля, так и крепостное право».

Параграфы 2 — 6 этой части проекта, несомненно, заключают в себе такие требования, которые были шире огромного большинства предложений, делавшихся представителями помещичьего сословия и правительственной власти. Так, осуществление п. 4 предупредило бы появление знаменитых впоследствии «отрезков»; при осуществлении п. 6 освобождаемых крестьян миновала бы горькая чаша «временно-обязанного состояния» и т. д. Но следующие пункты этого проекта показывают, что и его составители умели заботиться о помещичьих интересах. После того, как п. 7 напомнил о необходимости строго охранять при освобождении интересы как крестьян, так и помещиков, следующий § заявляет, что интересы обеих сторон могут быть соблюдены только при условии выкупа. А § 9 прибавляет, что выкупу подлежат не только земля, но и крепостное право», т.-е. право на крещеную собственность, как сказал бы Герцен. Это последнее, весьма достойное замечания, требование поясняется в проекте следующим соображением:

«В противном случае интересы помещиков пострадали бы сильно. Необходимость выкупа крепостного права бро-

сается в глаза в имениях малоземельных, промышленных и имеющих много дворовых людей».

Вторая часть проекта начинается повторением того требования, согласно которому в распоряжение освобождаемых крестьян должна поступить вся земля, находящаяся в их фактическом пользовании (против «отрезков»). Все последующие параграфы посвящены указаниям на то, как именно должна осуществиться идея выкупа. Авторы проекта предлагают правительству учредить оценочные комитеты в уездах, губерниях и столице (центральный оценочный комитет). Все эти комитеты должны были «получать направление» от существовавшего тогда верховного комитета. Интересен желательный авторам состав губернских и уездных комитетов: они должны состояться наполовину из лиц, назначаемых правительством, и наполовину из выборных от дворянства. О крестьянах нет ни слова. Самое название этих комитетов («оценочные») показывает, что задачей их была оценка земель, отводимых под надел крестьянам. По разрешении этой задачи верховный комитет должен был выдать помещикам облигации на сумму, определенную оценкой, за вычетом из нее долга, лежавшего на заложенных имениях. Для погашения облигаций освобождаемые крестьяне должны были платить особый ежегодный налог. В более подробное рассмотрение этой части проекта входить теперь совершенно излишне. Замечу только, — и попрошу читателя запомнить, — еще тот параграф (10-й), который гласит, что тягость, налагаемая на освобождаемых крестьян ежегодным сбором для погашения облигаций, «может быть немедленно же умерена увеличением налога на крестьян государственных, на гильдейские повинности и на земли, остающиеся в собственность помещиков».

XVI.

Печатая этот проект, редакция «Колокола» снабдила его следующим примечанием:

«Мы полагаем возможным и крайне необходимым представить в сокращенном виде все, что литература сказала об этом вопросе верного, неоспоримого и практического».

Однако не все в нем казалось ей верным и неоспоримым. В следующем же № «Колокола» Огарев, высказываясь в общем за проект, счел нужным сделать по его поводу весьма существенную оговорку.

Он утверждал, что комитеты, составленные наполовину из помещиков и наполовину из чиновников, непременно будут тянуть помещичью руку. Правда, сам Огарев думал, как мы знаем, что «народ плохо может высказать понятие, находящееся у него скорее в степени инстинкта, чутья, а не ясной мысли» (см. выше). Но все-таки ему казалась совершенно неверной та мысль, что предмет, подлежащий ведению оценочных комитетов, был выше уровня крестьянского понимания. «Крестьяне легко поймут в чем дело», — возражал он совершенно справедливо. Для исправления относившегося сюда места проекта Огарев требовал:

- 1) чтобы заседания оценочных комитетов были гласными;
- 2) чтобы входившие в комитеты члены от правительства имели университетское образование;
- 3) чтобы «возражения со стороны общин имели законную силу, были бы обнародованы в печати, и чтобы члены комитетов за невнимание к возражениям и мнениям общин подвергались строгой ответственности».

Для окончательного же разбирательства спорных вопросов, после утверждения освободительного акта, он предлагал учредить особые третейские суды, куда представители назначались бы поровну от обеих сторон. При этом он требовал уголовной ответственности лиц, уличенных в застраживании «судей не из дворянского сословия».

Таким образом редакция «Колокола» твердо держалась идеи государственного выкупа. Ее очень удивляло робкое отношение правительства к этой идее. «Мы не понимаем, — говорила она, — страха правительства перед обязательным выкупом. Кого оно боится?»¹

Некоторые корреспонденты «Колокола» доказывали, что обязательный выкуп земли в пользу освобождаемых крестьян будет выгоден только для помещиков. Редакция, в

¹ «Колокол», № 51. В конце передовой статьи.

лице Огарева, отвечала, что если это будет так, то «тем лучше: мужик независтлив, он спокойно предоставит эти выгоды помещику, лишь бы отделаться от него»¹.

Тот же автор, который восставал против обязательного выкупа, высказывался и против общинного владения землей. Возражая ему в указанном № «Колокола», Огарев говорил, между прочим, что видит в общине не идеал, а факт, и «этот факт способен к своеобразному развитию, которое, если ему не помешают, может быть гораздо лучше (чем западный «факт». Г. П.), потому что имеет более данных для мирного общественного устройства, признавая право каждого на пользование землею» и т. д.

Это замечание, брошенное в данном случае совершенно мимоходом, дает новый и очень ценный материал для выяснения тогдашних политических взглядов Огарева, а, стало быть, и Герцена, который нас здесь особенно интересует. Я уже говорил, что Герцен смотрел на классовую борьбу как на самое худшее средство разрешения социального вопроса, и что, кроме того, он вполне искренно предпочитал мирный путь развития революционному. Этот его взгляд, вполне разделявшийся, как видно, и Огаревым, необходимо иметь в виду всякий раз, когда заходит речь об отношении Герцена к тогдашнему правительству, с одной стороны, и к тогдашним революционерам — с другой. Мы знаем, что постоянные обращения Герцена к императору одобрялись не всеми сторонниками освободительного движения. С течением времени они стали вызывать в передовых кругах все более и более сильный ропот. В № 64 «Колокола» (1 марта 1860 г.) напечатано, за подписью «Русский Человек», письмо из провинции, резко порицавшее Герцена, который был, по мнению автора письма, «смущен голосом либералов-бар» и заговорил благосклонно о таких явлениях, о которых можно говорить только с ненавистью. Автор напоминал Герцену, по поводу некоторых его преувеличенных надежд, «что то, что дается, то легко и отнимается». В заключение он категорически заявлял: «Нет,

¹ См. №№ 57—58 «Колокола».

наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!».

Редакция «Колокола» не могла согласиться с этим. Герцен отвечал «Русскому Человеку», что к топору она звать не будет до тех пор, пока у нее останется хоть какая-нибудь надежда на мирную развязку.

«Чем глубже, чем дальше мы всматриваемся в западный мир, чем подробнее вникаем в явления, нас окружающие... — пояснил он свою мысль, — тем больше растет у нас отвращение от кровавых переворотов». По его мнению, такие перевороты бывают иногда необходимы, как роковое последствие роковых ошибок. Иногда они являются также делом мести или племенной ненависти. Но у нас такие стихии отсутствуют, и «в этом отношении наше положение беспримерно».

Сопоставив подобные заявления Герцена с несомненной умеренностью его аграрной программы, приходится признать, что нужен был поистине «уродливый», с его точки зрения, «ход дела» для ослабления его надежды на мирное решение величайшего из всех тогдашних русских общественных вопросов. И нельзя не признать также, что наши охранители делали все от них возможное для ее ослабления. Например, когда умер Ростовцев, стоявший во главе дела крестьянского освобождения, на его место был назначен известный крепостник Панин. Как мог ответить Герцен на его назначение? Он ответил следующей, полной негодования заметкой в «Колоколе» от 15 марта 1860 года¹.

«Невероятная новость о назначении Панина на место Ростовцева подтвердилась. Глава самой дикой, самой тупой реакции поставлен главою освобождения крестьян. С глубокой горестью узнали мы об этом. Но горевать недостаточно, наше время слишком бойко. Это вызов, это дерзость, это обдуманное оскорбление общественного мнения и уступка плантаторской партии. Тон царствования изменился, с ним должны измениться и все отношения. Члены Редакционных комиссий, если им дорого их дело, если им дорога память, которую они

¹ Она окружена траурной рамкой подобно некрологам: эта рамка как бы возвещала смерть некоторых упований Герцена.

оставят в истории, если они хотят, чтобы им отпустили их бюрократические страстишки и детскую привязанность к розгам, должны тотчас подать в отставку. Меньшинство дворянства должно сомкнуться и взять в свои руки дело освобождения крестьян. Ошибаться нечего, длинная фигура Панина может служить шестом со шляпой, чтобы пугать, но она слишком узка, чтобы застить собою черты»...

Читая эти резкие строки, вполне позволительно было подумать, что и у нас не совсем отсутствуют такие «стихий», которые способны значительно обострить борьбу противоположных общественных стремлений. К такому же выводу можно было прийти, прочитав в № 76 «Колокола» статью: «Узаконение государственного разбоя»¹, направленную против появившегося тогда в сферах проекта выкупа государственными крестьянами своих земель. И к нему, действительно, приходили читатели «Колокола». Но издатели его не хотели расстаться со своими прежними надеждами и горячо приветствовали каждый такой шаг правительства, который, по их мнению, хоть отчасти соответствовал их надеждам. С этой стороны чрезвычайно интересна и поучительна передовая статья «Манифест», в № 95 «Колокола» (от 1 апреля 1861 г.).

«Первый шаг сделан!—воскликает в ней Герцен,—говорят, что он труднее прочих: будем ждать второго—с упованием, хотели бы ждать его с полной уверенностью; но все делается так шатко, так половинно и тяжело!..

«Александр II сделал много; его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав, во имя сострадания против хищной толпы закоснелых негодяев—и сломил их! Этого ему ни народ русский, ни все-

¹ Мы видели, что, согласно проекту, напечатанному в № 44 «Колокола» (часть II, § 10), «тягость», налагаемая на освобождаемых крестьян для уплаты выкупа за землю, могла быть «умерена» увеличением налога на крестьян государственных. Редакция «Колокола» ничего не возражала против этого. Следовательно, можно предположить, что мысль о выкупе земель государственных крестьян возмущала ее преимущественно тем, что ее осуществление устранило бы возможность переложить на государственных крестьян часть «тягот», возлагавшихся на крестьян помещичьих.

мирная история не забудут. Из дали нашей ссылки мы приветствуем его именем, редко встречавшимся с самодержавием, не возбуждая горькой улыбки,—мы приветствуем его именем освободителя!

«Но горе, если он остановится, если усталая рука его опустится».

В следующем № «Колокола» Огарев, в свою очередь, писал: «Сегодня мы из глубины души говорим Александру II: благословен грядый во имя свободы! А потом—потом посмотрим, что будет».

XVII.

Это «что будет» очень скоро выяснилось для наших лондонских публицистов. В № 101 «Колокола» появилась 15 июня 1861 года — т.-е. ровно через 2 месяца после статьи Огарева, цитированной мною в конце предыдущей главы — статья того же автора: «Разбор нового крепостного права, обнародованного 19 февраля 1861 г. в Положениях о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В ней доказывалось, что: 1) старое крепостное право заменено новым; 2) вообще крепостное право не отменено; 3) народ... обманут.

«Освобождение крестьян, — писал Огарев, — является как историческая необходимость. Но правительство ниже своей задачи, оно не стало во главе; тем не менее, нить пойдет развиваться помимо его и вопреки ему. Оно выпустило из рук живую струю и ему не на кого пенять, как на самого себя».

Вполне понятно после этого, что в следующем же номере «Колокола» (1 июля 1861 г.) на вопрос, что нужно народу, дается ответ, звучащий революционным призывом: очень просто — народу нужна земля и воля. При этом доказывается, что земля принадлежит именно народу, так как он «с покон веков на самом деле владел землей, на самом деле лил на землю пот и кровь, а приказные на бумаге чернилами и отписывали эту землю помещикам и в... казну»...

Но и тут еще не отвергается идея выкупа. Автор статьи говорит, что, хотя помещики 300 лет владели неправо землею, «однако народ их обижать не хочет». Дальше мы встречаем

новый проект выкупа крестьянской земли, которым предполагается уплата помещикам в продолжение 37 лет целого миллиарда руб. сер.¹ Автор думает, что можно помириться с идеей такого выкупа, «лишь бы народу осталась вся земля, которую он теперь на себя пашет, на которой живет» и т. д.

Эта статья является чем-то вроде новой попытки «Колокола» убедить дворянство в необходимости правильного, по мнению Герцена и Огарева, решения крестьянского вопроса. Подобной же попыткой надо признать и статью в № 115, озаглавленную: «Что нужно помещикам?». Если на вопрос, что нужно крестьянам, редакция отвечала—«земля и воля», то, спрашивая себя, что нужно их бывшим владельцам, она говорила, что им нужны здравый смысл и деньги.

«Здравый смысл для того, чтобы не спорить и не расходиться с народом, иначе — народ их побьет, и правительство их прижмет. Деньги—для того, чтобы при здравом смысле жить и работать наймом. Теперь еще есть время одуматься, позже будет поздно».

Статья, из которой я беру эти строки, не подписана; но у меня нет решительно никакого основания предполагать, что Герцен в чем-нибудь не одобрял ее содержания. Поэтому я ее принимаю за выражение, между прочим, и его взгляда на тогдашнее положение дел. А приняв ее за такое выражение, я могу сказать, что в декабре 1861 г. публицистическая мысль нашего великого писателя возвращалась к той самой точке, от которой она отправилась при самом начале его заграничной пропаганды.

В первой брошюре, отпечатанной на его вольном станке, Герцен обращался к дворянству, восклицая: «Юрьев день! Юрьев день!». Это было еще в царствование Николая I, когда Герцен не питал никаких надежд на добрую волю правительства. Потом, когда началось царствование Александра II, Герцен стал обращаться уже не к дворянству, а к правительству, которому он доказывал, что ему нечего бояться дворянства. Далее наступило такое время, когда он утратил или почти утратил веру в правительство. Тогда он опять обратился к дво-

¹ В прежнем проекте говорилось лишь о 770 миллионах.

рянству, убеждая его в том, что ему ничего не нужно, кроме здравого смысла и денег. Насчет денег благородному сословию, разумеется, легко было с ним согласиться. На этот счет оно легко соглашается всегда и со всеми. Но по части требований здравого смысла сговориться было несомненно труднее. И по мере того, как Герцен убеждался, что здравый смысл дворянства не похож на здравый смысл редакции «Колокола», он все больше и больше отворачивался от «барина» и все чаще и чаще обращался к «разночинцу».

В брошюре: «Юрьев день! Юрьев день!» Герцен указывал дворянам на политическую свободу, как на цену, которой история заплатит им за отказ от крепостного права («мы—рабы, потому что мы господа... С Юрьева дня начнется наше освобождение»). Обращаясь снова к дворянству в начале 60-х г.г., Герцен опять выдвигает вопрос о политической свободе. Но—это крайне важно—он рассматривает его уже не с дворянской, а с общенародной («всесословной») точки зрения. Передовая статья № 102, которая объявляет, что народу нужна земля и воля, и что земля может быть приобретена им посредством уплаты дворянству миллиарда рублей, ставит еще и такое требование:

«Надо, чтобы подати и повинности определял бы и раскладывал промеж себя сам народ через своих выборных... Доверенные от народа не дадут народа в обиду, не позволят брать с народа лишних денег».

Однако из всех подобных заявлений «Колокола» хорошо видно, что для его издателей «политика» по-прежнему остается делом «второстепенным». Герцен и Огарев не торопились разбирать политические вопросы. Выставив в июле 1861 г. только что отмеченное мною требование насчет «определения податей и повинностей» народными выборными, «Колокол» только через два года рассматривает вопрос: способна ли Россия к представительному правлению и какие элементы в ней предствимы? ¹ Эти вопросы разрешаются в № 166 (20 июня 1863 г.).

Там говорится, что Россия способна к представительному правлению: «Самодержавие долгие держаться».

¹ См. статью Огарева: «Конституция и земский собор» («Расчетка некоторых вопросов») в № 164, 1 июня 1863 г.

не может, а другого выхода нет, как представительное правление. Другого выхода в России, как и в целом человечестве, не придумаешь». Но сословные интересы, по мнению автора (того же Огарева), у нас не представимы: «В России представимы волостные, городские, племенные и местные или областные интересы бессловно». Исходя из этого убеждения, автор в № 164 счел нужным противопоставить конституцию земскому собору.

«Конституция,—разъясняет он там,—может быть дана сословная. Она может быть дана, как готовый устав, которому приказано повиноваться».

Наоборот, «земский собор», как съезд выборных от всего земства, необходимо основан на бессловности выборов и собирается не для исполнения данного, приказного устава, а для устройства земли русской по потребностям земства, для узаконения прав владения, выборной администрации и суда, областного распределения и учреждения формы правительства».

Таким образом земский собор, в представлении издателей «Колокола», являлся учредительным собранием, созываемым не только для выработки русской конституции, но, между прочим, и «для узаконения прав владения». Можно ли было ждать, что здравый смысл и нужда в деньгах заставят наше дворянство поддерживать такие требования? Едва ли. Здравый смысл дворянского сословия непременно должен был придавать неопределенным словам «узаконение прав владения» более точный смысл оспаривания дворянских прав на землю крестьянскими депутатами предлагаемого земского собора. А подобное оспаривание никак не могло прийтись по вкусу даже либеральному А. М. Унковскому. Вот почему популярность «Колокола» стала быстро падать в дворянской (и на дворянский лад настроенной) среде. В одном из своих писем к Герцену И. С. Тургенев объяснял упадок популярности «Колокола» тем, что в нем стал хозяйничать Огарев. Но чем же был плох этот последний? Нечего говорить, по своему литературному таланту он был много и много ниже Герцена. Но его статьи были совсем не так плохи в литературном отношении, чтобы отпугивать читателей своей тяжеловесностью. Стало быть,

надо искать другого объяснения. И за ним не нужно далеко ходить.

Яркий лирический талант Герцена делал из него несравненного обличителя. Поэтому всякий раз, когда представлялся случай для обличения бюрократии,—читатель поверит, надеюсь, что и тогда таких случаев представлялось очень много,—или той части дворянства, которая упорно защищала свои старые привилегии,—за перо приходилось браться именно Герцену. Если вам угодно заменить здесь—в силу почтенной литературной традиции—слово «перо» словом «бич», то я скажу, что по свойствам своего таланта Герцену приходилось в «Колоколе» заниматься преимущественно бичеванием. Он и сам хорошо сознавал бичующее свойство своего таланта. Недаром он, начиная свою пропаганду за границей, радостно вызывал на бой все отсталые элементы русского общества. Он заранее хорошо знал, что им плохо придется от его бича. Но, занятый делом бичевания, он имел время только для того, чтобы формулировать в общих чертах основные положения своей программы. Развивать их в подробностях приходилось другим и прежде всего, разумеется, его ближайшему единомышленнику Огареву. Мне случалось иногда слышать то мнение, что Огарев глубже Герцена смотрел на общественно-политические вопросы своего времени. Это не так. Герцен был во всех отношениях даровитее Огарева. Когда он обращал свое внимание на какой-нибудь теоретический или практический вопрос, он освещал его не только ярче, но и гораздо глубже. В социально-политической теории, по наследству перешедшей от издателей «Колокола» к народникам, все более или менее глубокое и новое принадлежит не Огареву, а Герцену. Но отдельные положения этой теории чаще развивал Огарев, нежели Герцен, который, как сказано, был занят обличением и бичеванием. Это вызвало двойной оптический обман. Во-первых, некоторые стали считать Огарева писателем более глубоким, нежели Герцен; во-вторых, те, которым неприятно было относить на счет Герцена несимпатичные им общественные взгляды редакции «Колокола», стали целиком приписывать их Огареву, занимавшемуся их подробным изложением. Так поступил И. С. Тургенев, чем и объясняется приведенный мною отзыв его об Огареве, как

о причине упадка популярности «Колокола». Французы недаром говорят: *ce sont les enfans des autres qui gatent les nôtres*.

На самом деле между Герценом и Огаревым было в то время разделение труда, а не различие во взглядах. Ввиду этого я и позволил, да и дальше часто буду позволять себе делать ссылки на Огарева в работе, посвященной собственно Герцену. Такие ссылки необходимы для объяснения взглядов этого последнего.

XVIII.

В № 134 «Колокола» (22 мая 1864 г.), в статье: «Куда и откуда», мы читаем: «Уничтожьте станowych, исправников, окружных, суды казенные, но оставьте дворянству огромную долю земельной собственности,—и у вас заведется управление помещичье, суды помещичьи, хотя бы крестьянство и владело долей земли и было бы освобождено от барщины».

Такая постановка вопроса, сводившая коренную задачу будущего земского собора к уменьшению размеров помещичьего землевладения, могла встретить сочувствие лишь со стороны тех дворян, которые совершенно покидали свою сословную,— в данном случае точнее было бы сказать: классовую, т.-е. землевладельческую,—точку зрения и переходили на точку зрения крестьянства. Редакция «Колокола» чувствовала это, теперь и она уже безусловно одобряла радикальное решение аграрного вопроса. В № 131 была напечатана чрезвычайно интересная статья: «Голос за народ (Письма помещика). Письмо первое». Автор этой статьи, несомненно, принадлежал к числу тех помещиков, которые окончательно переходили в лагерь передовых разночинцев. Он стоял за передачу народу всей той земли, которой он владел, и за обработку земледельческими артелями земли, остававшейся за помещиками. Статья оканчивалась словами: «Лично я употреблю весь труд мой на то, чтобы доказать фактом, какая это сила — земледельческая артель. Мое последнее слово: за народ и в народ».

Редакция «Колокола», в лице Огарева, чрезвычайно сочувственно отнеслась к этой статье помещика-народника и со своей

стороны дала понять, что теперь она отказывается от уступок, делавшихся ею когда-то дворянам в интересах мирного хода дела. Огарев рассуждал теперь так:

«Если уж помещикам из общей земской подати назначается вознаграждение за то, что земля от них отходит к крестьянам, если в оброчных имениях, где помещичьей запашки и без того не было, вся земля отходит к крестьянам,—то не следует помещикам и в барщинных имениях оставлять особой земли. Они получают вознаграждение—чего же больше? Хотят иметь пай в мирской земле, по тягловому расчету, наравне с крестьянами, пускай остаются в общине такими же крестьянами, как и все. Земля чтоб вся осталась за миром и помещик таким же мирским пайщиком, как и другие. Только тогда бывшие помещичьи крестьяне сравняются землями с бывшими казенными, и будет единое земство и единая земская земля».

Без всякого преувеличения можно утверждать, что здесь Огарев высказывает ту идею «черного передела», которая потом нашла свое выражение в революционной литературе начала 80-х гг. и которая, в известном смысле, действительно была народной идеей. Но само собою разумеется, что эта народная, т.-е., точнее, крестьянская, идея не смогла ужиться со здравым смыслом более или менее крупных землевладельцев, как бы либерально ни была настроена некоторая их часть. И. С. Тургенев отнюдь не был реакционером. А между тем новая программа «Колокола» приводила его в самое искреннее негодование.

«Главное наше несогласие с О. и Г..., — пояснял он в одном из своих писем,—состоит именно в том, что они, презирая и чуть не топча в грязь образованный класс в России, предполагают революционные или реформаторские начала в народе; на деле это—совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого слова — я бы мог прибавить: в самом широком значении этого слова—существует только в меньшинстве образованного класса,—и этого достаточно для ее торжества, если мы только самих себя истреблять не будем»¹.

¹ Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену (и некоторым другим лицам. Г. П.). Загр. изд., стр. 153.

Тут заблуждения перемешаны с истиной на чрезвычайно поучительный лад. Нам очень хорошо известно теперь, что Герцен и Огарев отнюдь не склонны были презирать образованное дворянство, а тем менее топтать его в грязь. Напомню речь, произнесенную Герценом в международном собрании, состоявшемся 27/II 1854 г. в память февральской революции. В этой речи он называет молодое дворянство одним из двух «зародышей» будущего русского движения. Напомню также, как Огарев советовал правительству призвать к себе на помощь в только что начинавшемся тогда деле крестьянского освобождения «тот отдел дворянства средней руки, который, с одной стороны, образовался в высших учебных заведениях и привык мыслить, а с другой стороны, жил в деревнях и знал народ и его потребности». И. С. Тургенев очень ошибался, приписывая Герцену и Огареву презрение к образованному классу.

Но в то же время он был, со своей точки зрения, совершенно прав. «Образованный класс» не мог не открыть презрительного к нему отношения в новой программе Герцена и Огарева. В чем же тут дело? Вот в чем.

Читатель помнит, может быть, ту французскую комедию, в которой отец, прочитав приготовленный для его дочери и написанный под ее диктовку проект брачного контракта, восклицает: «но тут говорится только о моей смерти!» (*mais dans tout cela ne s'agit que de ma mort!*). Совершенно то же мог воскликнуть «образованный класс», ознакомившись с одной программой «Колокола»: в ней, в самом деле, шла речь только об его смерти. Ну, а кто желает смерти данному классу, тот, конечно, не питает к нему, как к таковому, ни малейшего уважения. И это очень хорошо схватил И. С. Тургенев. Принять новую программу Герцена и Огарева могли только такие представители образованного класса, которые готовы были отказаться от всех своих классовых привилегий. А Ив. С. Тургенев принадлежал к той несравненно более многочисленной и влиятельной его части, которая вовсе не расположена была отказываться от них. Люди, подобные ему, очень сочувствовали Герцену и Огареву, пока те ограничивались нападками на сословные привилегии дворянства, к числу которых принадлежало тогда и крепостное право. Но они пришли в замешательство,

как только увидели, что Герцен и Огарев начинают нападать на классовую привилегию дворянства, т. е. на их право поземельной собственности. Тут расхождение было неизбежно, и происходило оно совсем не оттого, что Огарев стал будто бы распоряжаться в «Колоколе», а оттого, что он совершенно так же, как и Герцен, в самом деле был не исправимым социалистом (понимая слово «социализм» в утопическом его смысле), тогда как между людьми, рукоплескавшими «Колоколу» в первые годы его существования, преобладали либералы.

К этому надо прибавить сочувствие Герцена и Огарева очень усилившемуся тогда польскому движению. Либералы и в этом вопросе не могли не разойтись с «неисправимыми социалистами». Падение популярности и «Колокола» не могло не огорчать Герцена. Однако для него самого не ясны были вызывавшие его причины.

В № 135 «Колокола» (1 июня 1862 г.) он поместил заметку: «Москва нам не сочувствует» с ироническим эпиграфом «Прости, Москва, приют родимый!». В ней он действительно прощался с Москвой; но его прощание с ней показывает, как силен был когда-то утопический элемент в его представлении о дворянском «зародыше» русского социализма.

Заметка начинается выпиской из письма, полученного редакцией «Колокола» от своего московского корреспондента. «Москва вам не сочувствует, напротив,—писал корреспондент,—мы все здесь, к какой бы партии ни принадлежали, люди исторические, и радикализма мы переварить не можем. Не думайте, чтоб я говорил про один какой-либо кружок. Нет, я говорю о всех, исключая, разумеется, небольшой части молодежи. У нас уважают искренность ваших убеждений, пользу от большей части сообщаемых вами известий и о вас говорят не иначе, как с любовью, но на этом и останавливается сочувствие».

Герцен отвечает на это сообщение целым рядом едких сарказмов по адресу Москвы. Но едкие сарказмы только прикрывают собою его разочарование, которое сейчас же и вырывается наружу в горькой тираде:

«Как же она изменилась с тридцатых, сороковых годов... с тех времен, когда Белинский начинал свое литературное поприще, Грановский открывал свой курс!..

«Все, что впоследствии развилось и вышло наружу, все, около чего теперь группируются мнения и лица,—все зародилось в эту темную московскую ночь, за свечкой бедного студента, за товарищескою беседой на четвертом этаже, за дружеским спором юношей да отроков. Там из неопределенной мглы стремлений, из горести и упования отделились мало-помалу, как два волчьих глаза, две световые точки, два фонаря локомотива, растущие на всем лету, бросая длинные лучи света: один—на пройденный путь, другой—на путь предстоящий. В Москве была умственная инициатива того времени, в ней подняты все жизненные вопросы, и в ней на разрешение их тратилось сердце и ум, весь досуг, все существование. В Москве развились Белинский и Хомяков. В Москве кафедра Грановского выросла в трибуну общественного протеста».

К началу 60-х г.г. Москва, без сомнения, очень изменилась сравнительно с тем, чем была, когда Герцен учился в ее университете, или когда он по возвращении из ссылки сражался с Хомяковым на вечерах у Елагиной. Однако в жизни Москвы никогда не было такого периода, в течение которого ее так называемое общество смотрело бы на вопросы русской жизни глазами университетских кружков. И если в начале 60-х г.г. общество это разошлось с наиболее передовыми писателями того времени в своей оценке крестьянской реформы и польского движения, то это было как нельзя более естественно. Объяснять такое расхождение тем, что настроение общества теперь изменилось, значило—иметь неверное представление о том, как оно было настроено в продолжение 30-х или 40-х годов. В только что приведенных мною строках Герцена видно именно такое неверное представление. Из того, что сказано в этих строках, выходит, как будто дворянская Москва доброго старого времени пренебрегала своими существенными экономическими интересами и готова была идти, пожалуй, даже за Белинским; а к началу 60-х г.г. до такой степени изменилась, что вспомнила об этих интересах, вследствие чего и отказалась поддерживать новые аграрные требования «Колокола». На самом деле «Москва»,—

да и, конечно, не одна «Москва»,—не хотела поддерживать эти требования по той вполне достаточной причине, что воплощение их в жизнь свело бы на-нет все крупное землевладение.

Герцен и Огарев надеялись, что образованное дворянское меньшинство возьмет на себя почин реформ, необходимых для развития крестьянских общин в социалистическом направлении. Они думали, что благодаря образованию оно поднимется выше своих классовых интересов. На деле оказалось, что подняться выше этих интересов способны были только отдельные личности. Остальная масса дворянства или упорно поддерживала свои сословные привилегии, или же, в лучшем случае, в лице более передовой своей части отказываясь от этих привилегий, никак не хотела расстаться с экономическими преимуществами своего классового положения, т.е. пожертвовать своими землевладельческими правами. Этого, конечно, и надо было ожидать. Скажу больше. Перейдя от теории к практике, т.е. от выработки своей схемы будущего социального развития России к проповеди крестьянского освобождения с землею, Герцен и Огарев сами немедленно же почувствовали, что, обращаясь к дворянству, надо щадить, по крайней мере, его землевладельческие интересы. Именно потому они и стояли за выкуп,—и, как мы видели, далеко не безвыгодный для дворянства выкуп,—земель, находившихся во владении крестьян. Но в то же время у них, так сказать, на границе сознания продолжала жить вера в образованное дворянское меньшинство. И чем яснее становилась полная неспособность дворянства принести свои интересы в жертву освободительному движению; чем больше издатели «Колокола» отворачивались от него, тем более они склонны были упрекать его за то, что его поведение не соответствует тем надеждам, которые они возложили на него, противопоставляя Россию Западу и мечтая о будущем расцвете русского социализма. Это кажется странным. Но в истории утопического социализма мы нередко наталкиваемся на подобные странности. Утопические социалисты вообще ждали и требовали от имущих классов гораздо больше, нежели они могли дать, и тем самым готовили себе много разочарований. Происходило это, конечно, не от презрения к имущим классам, а от излишней их идеализации.

XIX.

В мае 1862 г. Огарев писал: «Надо той доле дворянства, которая заодно с народом, крепко соединяться между собою и с крестьянами»¹.

Тут по-прежнему автор обращается к дворянству. Но он делает это, как будто уступая старой, укоренившейся у него привычке. Объявив, что, если дворяне хотят иметь свой пай в мирской земле, то они должны сравняться с другими крестьянами². Огарев не мог, разумеется, думать, что между дворянами найдется много сторонников такой аграрной программы. Впрочем, редакция «Колокола» уже ясно видела тогда, что читающая публика в своем огромном большинстве не за нее. В номере от 1 января 1864 г. Герцен на вопрос, много ли у него сторонников в России, отвечал:

«Нет, не много, по крайней мере, сколько мы знаем, особенно с тех пор, как слабые, шаткие, мелкие, робкие ушли, — одни от испуга, другие по глупости; оставшиеся тем меньше заметны, что они должны молчать под тройным надзором — явной, тайной и литературной полиции».

Однако он не смущался малочисленностью своих единомышленников — он верил в силу идеи. Он писал:

«Много веры, много преданности, много истины надобно, а число голов придет. Это не рекрутство и не подушный сбор. В пещерах, слабые числом, христиане росли в силу, в подземных ходах спланивались они в те несокрушимые общины свярых безумцев, с которыми не могли совладать ни дикое варварство одного мира, ни маститая цивилизация другого».

Другими словами это можно было выразить так: «хотя в настоящее время единомышленников у нас очень мало, но впоследствии их будет очень много». Ввиду этого естественно возникает вопрос: из какой же общественной среды должны были, по мнению редакции «Колокола», выйти ее многочисленные будущие единомышленники?

¹ «Колокол», № 134.

² Это место его статьи мною приведено выше.

Надежда на «молодое дворянство» оправдалась лишь в самой ничтожной степени. Крестьянству схема Герцена и Огарева продолжала отводить пассивную роль предмета просвещенного воздействия со стороны образованного меньшинства. Оставалось обратиться к разночинцам.

В октябре 1864 г. Огарев, в письме «К одному из многих», довольно подробно говорит о разночинцах.

Они представляют или то меньшинство дворянства, которое отказалось от своего сословия, или то разночинство, которое вовсе не пошло в чиновничество или находится в нем с отвращением. Они не могут иначе выдвинуться вперед, как по теории, а по жизни соединяясь в свои артели и опираясь не на города, а на народ, который им представляет (? Г. П.) основание своего элемента земства, всюду живучего и неискоренимого».

Мы видим здесь, что редакция «Колокола», в самом деле, обращалась теперь лишь к той ничтожной части дворянства, которая способна была покинуть точку зрения классового интереса. Само собою разумеется, что такой части дворянства охотно отводит место в своих рядах и нынешний сознательный пролетариат. Но, если теоретическим представителям нынешнего сознательного пролетариата приходится подчас перечислять те общественные классы, сословия или слои, отдельные члены которых могли перейти на сторону рабочих, то в своем перечне они отводят дворянству едва ли не самое последнее место. А когда Огарев заговорил о составных элементах слоя разночинцев, он прежде всего указал на меньшинство дворянства. Это в значительной степени объясняется тем, что в тогдашней России было все-таки больше дворян, покидавших свою классовую точку зрения, нежели можно встретить в нынешних капиталистических странах. А, кроме того, тут опять надо принять во внимание старую привычку, коренившуюся в старых, дорогих воспоминаниях.

Говоря о студенческих годах Герцена, я уже отметил, что в тогдашних передовых кружках участвовала по преимуществу дворянская молодежь. И я привел его собственное свидетельство, согласно которому семинаристы были отсталыми элементами студенчества. Правда, то время воспитало такого разночинца, как В. Г. Белинский. Но В. Г. Белинский был

лишь многозначительным исключением из общего правила. Его появление указывало на то, что будет после, а не на то, что было тогда. В высшей степени замечательно, что в первое время своей литературной деятельности Белинский сам весьма недоверчиво относился к разночинцам. Вот как он отзывается о них в своей знаменитой статье—«Литературные мечтания»:

«Это сословие наиболее обмануло надежды Петра Великого: грамоте оно всегда училось на железные гроши, свою русскую смысленность и сметливость обратило на предосудительное ремесло—толковать указы; выучившись кланяться и подходить к ручке дам, не разучилось своими благородными руками исполнять неблагородные экзекуции»¹.

Такое предубеждение против разночинцев вызвано было их предшествовавшей чиновничьей ролью в истории развития русской «гражданственности». Оно рассеялось только в 60-х годах, когда передовые представители этого общественного слоя явились во главе освободительного движения. Но и тогда оно рассеялось не сразу, а потому редакция «Колокола», даже обращаясь к разночинцам, видела в них прежде всего молодых дворян, окончательно разорвавших с своим «благородным» сословием.

Огарев отводит разночинцам «роль умственной, следственно, движущей силы в государстве»². Это, как видите, та же самая роль, которая прежде отводилась им и Герценом «молодому дворянству». Стало быть, и по их тогдашнему мнению, учащаяся молодежь по-прежнему должна была играть значительную роль. Больше того. Прежде, когда Герцен верил в правительство, он видел в молодых и образованных идеологах лучших исполнителей начинаемых сверху реформ. Редакция «Колокола» прямо говорила это, в лице Огарева. Теперь, когда вера в правительство исчезла, Герцен и Огарев ждали почина именно от образованных идеологов. Таким образом учащаяся молодежь приобретала в их глазах еще большее значение. Неудивительно, что по поводу студенческих «беспорядков» Герцен написал в № 110 «Колокола» статью: «Исполин просыпается!».

¹ Соч., т. I, изд. Павленкова, Спб. 1896 г., стр. 23.

² «Колокол», № 190.

Понятно и то, что студентам, исключенным из высших учебных заведений за «беспорядки», он советует идти в народ.

«В народ! в народ!—вот ваше место, изгнанники науки, покажите..., что из вас выйдут не подьячие, а воины народа русского».

Вместе с этим «Колокол» (в № 105) советует заводить тайные типографии. Одним словом, в «Колоколе» того времени мы встречаем почти все те практические указания, которые давала учащейся молодежи народническая (революционная) печать 70-х годов.

В марте 1863 г., сообщив о возникновении в России общества «Земля и Воля», редакция «Колокола» прибавляет:

«Земля и воля! родные слова для нас, с ними выступили и мы некогда, в зимнюю николаевскую ночь, и ими огласили зорю настоящего дня. Земля и воля было в основе каждой статьи нашей; «Земля и воля» на нашем заграничном знамени и в каждом листе, вышедшем из лондонского станка». Редакция «Колокола» имела полное право написать это. Девиз «Земля и Воля», в самом деле, лежал в основе каждой статьи ее. И потому, что он лежал в основе каждой статьи ее, Герцен и Огарев должны быть признаны родоначальниками русского народничества. С другой стороны, по этой же причине они непременно должны были разойтись с теми либеральными элементами русского общества, которые первоначально рукоплескали «Полярной Звезде» и «Колоколу». Я уже сказал, что, вопреки мнению И. С. Тургенева, Герцен был таким же народником, как и Огарев. В настоящее время нужно иметь до крайности поверхностный взгляд на Герцена, чтобы писать, например, такие строки: «Получившее в «Колоколе», наконец, перевес руководящее значение Огарева (прокламации которого в духе общинного социализма, конечно, до народа не доходили) отдаляло от «Колокола» часть его сторонников»¹. Сторонников отдаляло то весьма простое и едва ли не общеизвестное теперь обстоятельство, что они, эти сторонники, добивались только уничтожения крепостного права да некоторых «административных» и «религиозных» реформ (вспомните письмо Кавелина); между

¹ Ч. Ветринский, «Герцен», Спб. 1908 г., стр. 363.

тем как Герцен в самом освобождении крестьян видел лишь первый шаг на пути к социализму.

Говорят также, будто перемене «Колокола» много содействовал М. А. Бакунин, появившийся в Лондоне в начале 1862 г. Но уже в 1861 г. в статьях «Колокола» все чаще и чаще слышатся резкие народнические ноты. Правда, Герцен рассказывает, что, приехав в Лондон, Бакунин принялся немедленно «революционировать «Колокол»¹. Но чего хотел он от этого издания?

«Мало было пропаганды; надобно было неминуемо приложить, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были «посвященные и полупосвященные братья», организация в крае,—славянская организация, польская организация. Б. находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства»².

Из этого показания Герцена явствует прежде всего, что разногласия между Бакуниным и редакцией «Колокола» имели, как сказали бы мы теперь, тактический, а не принципиальный характер. Из него видно также, что Бакунин одинаково нападал на обоих редакторов «Колокола». Вполне возможно, что Огарев делал Бакунину больше уступок на практике, нежели Герцен. Его уступки могли видоизменить кое-что и в поведении Герцена. Я вполне готов согласиться, что не следовало уступать Бакунину. Но каковы бы ни были ошибки, вызванные неуместною уступчивостью, они ограничивались практической областью и не могли иметь никакого влияния на теоретические взгляды Герцена. Известно, что с 15 июня 1862 г. при «Колоколе» стал выходить листок «Общее Вече», предназначенный для раскольников. Некоторые видят в этой «затее» одно из проявлений вредного влияния Бакунина на редакцию «Колокола». Г. Ветринский говорит:

«В этом была не только ошибочная мысль, будто старообрядчество может явиться само по себе революционной силой, но было ложно и положение, занятое редакцией. Умалчивая о

¹ Курсив его.

² Сборник посмертных статей, стр. 200.

своих в действительности безрелигиозных верованиях, редакция, как раньше Энгельсон в «Видениях Кондратия», становилась на точку зрения людей, верующих в священное писание и в предание, и в них искала опоры своим убеждениям—политическим и социальным»¹.

Оно, конечно, так: заговорив языком верующих людей, неверующая редакция поставила себя в ложное положение. Справедливо и то, что старообрядчество не могло явиться революционной силой. Но ведь энгельсоновы «Видения св. Кондратия» появились в то время, когда только что начиналась издательская деятельность Герцена и когда не было в Лондоне ни Бакунина, ни даже Огарева. Значит, ошибка издания этих «Видений» должна быть отнесена на счет самого Герцена. И эта ошибка очень просто объясняется, во-первых, тем, что ему претила роль цензора, а, во-вторых,—и это, может быть, важнее,—отсутствием у него убеждения в способности народа понять серьезную политическую речь. Заканчивая восьмую главу, я просил читателя запомнить слова, стоящие в дневнике Герцена под 24 марта 1844 года: «Доселе с народом можно говорить только через священное писание». Читатель видит теперь, что слова эти в самом деле не мешало запомнить, и что, стало быть, напрасно позабыл о них г. Ветринский.

XX.

Г. Ветринский приводит, между прочим, следующие строки из письма Герцена к Огареву от 29 апреля 1863 г.:

«Мы представляем, и в этом я глубоко убежден, деятельный фермент русского движения, и во всех внутренних вопросах нами сообщаемое движение одинаково. Веря в нашу силу, я не верю, что можно произвести роды в шесть месяцев беременности. А мне кажется, что Россия—в этом шестом месяце. Я увлекаюсь скорее тебя и скорее трезвею. Дай мне не готовую силу, а дай опупать живой зародыш. Конечно, живой зародыш носится в общем состоянии, носится в гении народа, в напра-

¹ Ч. Ветринский, «Герцен», стр. 364.

влении литературы, в реформах и пр. Но где он в такой степени сложился и обособился, как... ты находишь в «Земле и Воле»? Я того не вижу... Не думал ли ты о том, что после всего, что было с Крымской войны, в самом деле России нужнее всего опомниться, и для этого ей нужна покойная, глубокая, истинная проповедь? Ты на нее способен. Проповедь может сделать агитацию, но не есть агитация. Вот почему я возражал иногда на твои агитационные статьи»¹.

Г. Ветринский не замечает, что эти строки опровергают его взгляд. В них нет ни слова о принципиальных разногласиях между Герценом и Огаревым. Герцен признает, что ему приходилось иногда возражать против статей Огарева. Но от него же мы узнаем, что предмет спора сводился к вопросу: что нужнее в данное время — пропаганда или агитация? О том, каково могло бы быть содержание пропаганды, речи не было по той простой причине, что здесь, в области общих социально-политических воззрений, не существовало никаких разногласий между Герценом и Огаревым. А пропаганды этих общих социально-политических воззрений, т. е., главным образом, того взгляда, что освобождение крестьян с землею должно явиться первым звеном в цепи социалистических мер, необходимых для правильного развития России, — было совершенно достаточно для отпугивания либеральных поклонников Герцена.

«Во всех внутренних вопросах нами сообщаемое движение одинаково» — говорит Герцен. Уж эти слова ясно показывают, что принципиальных разногласий между ним и Огаревым не было. Но, если два человека хотят сообщить данному предмету «одинаковое движение», то отсюда еще не следует, что они совершенно согласны между собою по вопросу о том, какова будет скорость движения, сообщаемого ими. Тут между ними вполне возможно разногласие, причиняемое тем, что обыкновенно называется темпераментом. Один больше другого склонен к увеличению; один верит безраздельно, между тем, как вера другого ослабляется подчас сомнением. Все это бывает сплошь да рядом, и все это мы видим в интересующем нас случае. Герцен говорил: Россия находится в шестом месяце беременности;

¹ Ч. Ветринский, «Герцен», стр. 362—363.

Огареву же временами казалось, что беременность близится к своему естественному концу, и что скоро начнутся роды. В своем «Ответе на ответ Великоруссу» он даже предсказывает, когда произойдет народный взрыв: по его мнению, «вероятность падает на шестой год»¹. Можно с полной уверенностью утверждать, что Герцену подобная «вероятность» никогда не представлялась сколько-нибудь значительной. Однако и здесь не надо ничего преувеличивать. При всей своей склонности к увлечениям Огарев никогда не доходил до проповеди «вспышкоступательства», которое впоследствии, как известно, легло в основу тактики Бакунина и к которому он всегда был сильно расположен. Для характеристики тактических взглядов Огарева я сошлюсь на его статью: «Грехи и безумия» в № 17 «Общего Веча» (от 1 июня 1863 г.).

«Мы не хотим беспорядочного взрыва и не нужно пролитой крови, — говорит он там; — мы хотим, чтобы народ собирался, собирался и собрался бы в крепкий и разумный строй, и чтоб его восстание сплошным строем имело целью созвать земский собор для укрепления за народом земли, для учреждения в России народного выборного суда и управления, для обнародования свободы веры и упрочения общественного порядка, уважающего совесть и волю человеческую».

При наличности таких оговорок Герцену нетрудно было столкнуться с Огаревым, несмотря на разногласия между ними насчет «месяца беременности».

Гораздо важнее другая сторона дела, совершенно упущенная из виду г. Ветринским.

Герцен и Огарев увлекались некогда философией Гегеля, и каждый из них был многим обязан ей в развитии своего мирозерцания. Но едва ли я ошибусь, сказав, что Герцен с большим успехом, нежели Огарев, прошел через школу великого немецкого идеалиста. Правда, он тоже усвоил в ней далеко не все, что усвоили такие люди, как Фейербах, Маркс или Энгельс. Он недостаточно оценил диалектическую сторону гегеле-

¹ После освобождения крестьян. Цитируемая статья Огарева появилась в № 108 «Колокола», от 1-го ноября 1861 г.

вой философии¹. Но по всему видно, что он обратил на нее гораздо большее внимание, нежели Огарев. Это сказалось и на его отношении к тогдашнему социализму. Чтобы твердо поверить в будущее торжество социализма, ему недостаточно было убеждения в том, что социализм представляет собою прекрасный идеал хороших людей. Ему надо было выяснить себе тот ход общественного развития, который привел к возникновению этого прекрасного идеала и который ручался бы за его осуществление. Эта его теоретическая потребность не вполне сознавалась им самим². Однако ее наличие оставила глубокий след на всех его рассуждениях о социализме вообще и в частности о шансах социализма на Западе Европы. Если он еще до февральской революции толковал с Бакуниным о вероятной смерти западного «старика», то его скептицизм вызван был в этом случае, между прочим, тем, что западно-европейский социалистический идеал представлялся ему лишь привлекательной теорией, не имевшей серьезной опоры в логике общественной жизни³. И, если он, с другой стороны, стал смотреть на Россию как на страну, призванную к осуществлению западно-европейского социалистического идеала, то это произошло по той причине, что русская община показалась ему способной сыграть историческую роль объективной основы социализма, отсутствовавшей, по его мнению, на Западе.

Но само собою разумеется, что русская община могла сыграть эту роль основы,—или, как выражался Герцен, «зародыша»,—социализма только при известных социально-политических условиях, нужных для ее дальнейшего развития (как его понимал наш автор). Отсутствие таких условий грозило «зародышу» смертью. Герцен чувствовал это, и вот почему он с особенной энергией отстаивал идею освобождения крестьян с землею. Но, когда крестьянская реформа получила такое напра-

¹ Ему принадлежит характеристика философии Гегеля как «алгебры революции». Это прекрасная характеристика. Но он же считал Прудона прекрасным диалектиком. Это показывает, что ему не ясна была глубочайшая сущность диалектического метода Гегеля.

² Если бы он вполне сознавал ее, то он поставил бы перед собою ту же теоретическую задачу, которую разрешил впоследствии Маркс.

³ Подробнее об этом см. в моей статье «Герцен-эмигрант».

вление, которое «Колокол» называл уродливым, тогда нельзя было не видеть, что условия дальнейшего развития зародыша становились весьма неблагоприятными. А этим создавался совершенно достаточный логический повод для возникновения вопроса о том, суждено ли вообще выжить «зародышу». Всем известно, что вопросом этим много занималась русская литература со времени появления в ней марксизма. Но есть основание думать, что тот же самый вопрос возникал и у Герцена.

Осенью 1863 г. наш автор говорил в «Письме из Неаполя»: «Глядя на то, как здесь при отсутствии сильной буржуазии столичная чернь остается лаццаронами, поневоле приходит в голову то, что народ, по тяжелому закону *selection*¹, только и поднимается через буржуазию к более развитой жизни».

Та же самая мысль пришла в голову Белинскому еще в начале 1848 г. Но, глубоко презирая западное «мещанство», Герцен не мог решить его в таком же отрадном смысле, в каком решил его Белинский. К выводу о том, что современным цивилизованным народам необходимо пройти через буржуазию, его приводят следующие пессимистические рассуждения:

«Может, буржуазия вообще—предел исторического развития, к ней возвращается забегавшее, к ней поднимается отставшее, в ней народы успокаиваются от метания во все стороны, от национального роста, от героических подвигов и юношеских идеалов, в ее уютных антресолях людям привольно жить».

Тут буржуазная фаза развития изображается не как переход к новой высшей фазе (в этом смысле понимал ее Белинский), а как остановка движения, как предел, дальше которого цивилизованному человечеству не суждено идти.

Не удивительно, что Герцену нелегко было поверить в существование такого предела. Но он не напрасно учился логике у Гегеля: он понимал, что логика общественной жизни не справляется с тем, что приятно и что не приятно идеологам. «Мало ли у нас таких скорбей,—говорит он,—разве алхимики не скорбели о прозе технологии, и мало ли по каким идеалам мы тоскуем»².

¹ Подбора.

² «С континента», Письмо из Неаполя, — «Колокол», № 173.

Это соображение почти буквально повторяет собою ту мысль, которая легла в основу книги—«С того берега». Вся эта книга есть не более, как длинный ряд ярких и прочувствованных доказательств того положения, что иное дело наша тоска по идеалу, а иное дело объективная необходимость его осуществления.

XXI.

Заметьте, что теоретические положения, с которыми оперирует здесь Герцен, имеют общий характер. Речь идет не о какой-нибудь отдельной стране и даже не о какой-нибудь отдельной части света. Нет, вид неаполитанских лаццарони «поневоле» заставляет Герцена предположить, что есть «тяжелый закон» подбора (selection), в силу которого народы «только через буржуазию» могут подняться на более высокую ступень развития. Ни о каких исключениях из этого печального общего правила у него при формулировке закона не упоминается.

Но, если это так, если такой общий закон в самом деле существует, то ему, очевидно, должна будет подчиниться и Россия. А в таком случае теряет всякий смысл сделанное Герценом не столь утешительное для него противопоставление России Западу. У нашего автора нехватает силы принять этот вывод. Он отклоняет его с помощью краткой, но весьма знаменательной оговорки. Он дает своему закону новую формулировку, признавая вероятным, что все реки истории теряются в болотах мещанства. Но тут он неожиданно прибавляет: по крайней мере, западные. Оговорка эта не имеет никакого основания в предыдущих его рассуждениях. Больше того: она *п р о т и в о р е ч и т* им. Но ею спасается от разрушения не раз высказанная Герценом в других местах надежда на то, что Россия никогда не будет мещанской, и потому она кажется ему убедительной.

Вместе с указанной надеждой эта небольшая оговорка спасала также и всю программу «Колокола». Не будь ее, Герцену надо было бы выработать совершенно другую программу или окончательно стать пессимистом. Но уже то обстоятельство, что он избегал пессимизма лишь с помощью подобных оговорок, дает повод думать, что его взгляд на Россию как на счастливое

исключение из общего исторического правила не всегда был свободен от известной примеси скептицизма. Огарев был счастливее в этом отношении: он вряд ли сомневался. Номер «Колокола», непосредственно предшествовавший тому, в котором Герцен напечатал свое письмо из Неаполя, содержит характерное стихотворение Огарева: «Сим победиши!». В нем выражается непоколебимая вера его автора в счастливое будущее русского социализма:

...И верю, верю я в исход
И в наше светлое спасенье,
В землевладеющий народ
И в молодое поколение.
И верю я—невдалеке
Грядет, грядет иная доля,
И крепко держится в руке
Одна хоругвь—Земля и Воля!

Если бы историческое значение писателей определялось силой их веры в те или другие идеи, то надо было бы сказать, что Огарев больше, нежели Герцен, имеет право называться родоначальником русского народничества. Но народничество имеет свою теорию, и для выработки этой теории Герцен сделал гораздо больше, чем Огарев.

Повторяю, Огарев занимался преимущественно частными вопросами. Но зато, работая над такими вопросами, он нередко удивительным образом предвосхищал те решения, к которым приходили народники 70-х годов. Вот один из многих ярких примеров. Мысль о необходимости пропаганды среди раскольников,—осуществленная Огаревым с помощью «Общего Веча»,—сделалась общепризнанной лет 15 спустя у русских революционеров. Огарев, доказывавший необходимость отмены земельной собственности с помощью ссылок на пророка Даниила², предвосхищает появление Александра Михайлова и других народников, пытавшихся внушить свои взгляды расколь-

¹ «Колокол» от 1-го ноября 1863 г.

² См. «Письмо к верующим всех старообрядческих и иных согласий и сынам господствующей церкви» в № «Общего Веча» от 15 июня 1862 г.

никам Спасова или Федосеева согласия посредством ссылок на «старые книги»¹.

Кто не знает, что между Герценом и молодыми революционерами, уезжавшими в 60-х годах за границу, происходило много неприятных столкновений? Главный упрек их против него сводился к его отсталости. До какой степени он был неоснователен, явствует из того простого соображения, что молодежь, восстававшая против Герцена, нередко жила его же идеями и—замечательная вещь!—усваивала их все больше и больше, по мере того, как расширялось движение, совершавшееся под знаменем «русского социализма».

По части тактики существовали действительные разногласия, но и они сводились, главным образом, к определению «месяца беременности». Хотя Герцен сознательно предпочитал мирный ход развития революционному, но и он не стал бы возражать против деятельности акушеров, если бы в самом деле наступило время родов.

Не нравилось молодым революционерам и то, что Герцен очень не одобрял тактики покушений, террора, как стали говорить впоследствии. Но это частность, на которой нет надобности останавливаться. Уместнее будет заметить, что, восставая против Герцена, революционная молодежь только усилила ошибку, закрашивая в его собственную философию русской истории.

По этой философии, наше развитие в направлении к социализму будет результатом взаимодействия двух «зародышей»: крестьянской общины и кружков образованной (дворянской, позже—разночинской) молодежи. При этом кружкам образованной молодежи всецело отводилась деятельная роль.

¹ В своих «Частных письмах об общих вопросах» Огарев, развивая ту мысль, что средневековый Запад чужд был «понятию народного владения вещью», говорит, что только в Италии городское население доходило кое-где до «понятия народной воли» («Колокол», № 216, второе письмо). Это выражение заставляет вспомнить о знаменитой впоследствии русской партии—«Народной Воле». Я очень хорошо знаю, что партия эта приняла свое название вовсе не под влиянием статей Огарева. Но интересно, что она обозначила теми же самыми словами, что и Огарев, политическое понятие демократии. Партия «Народной Воли» была, как знает читатель, видоизменением русского народничества.

Они должны были вынести другой «зародыш» из его дремоты и сообщить ему тот толчок, с которого началось бы его дальнейшее развитие. Но, раз было признано, что от кружков образованной молодежи зависит выведение другого «зародыша» (общины) на путь исторического развития, то вполне естественным казалось признать, что от них же зависит и сообщение ходу этого развития большей или меньшей скорости. Герцен говорил: «Существование общины ручается за осуществимость у нас социалистического идеала. Поэтому—в народ для социалистической пропаганды». А ссорившаяся с ним и величавшая его отсталым революционная молодежь говорила: «Тяжелое положение крестьянина-общинника вызывает в нем недовольство, которое ручается за скорую осуществимость наших революционных стремлений. Поэтому—в народ для революционной агитации». Молодежь ошибалась, так как недовольство крестьянина-общинника своим тяжелым положением еще не делало из него революционера. Но ведь неправ был и Герцен, так как на самом деле наша община вовсе не была зародышем социализма. В логическом отношении ошибка молодежи была совершенно подобна той, которую сделал Герцен, вырабатывая свою философию русской истории. Она являлась ее дополнением и, можно сказать, вызывалась ею.

Я сказал, что идеи Герцена все более и более укреплялись в русской революционной среде по мере того, как расширялось и упрочивалось движение, происходившее под знаменем «русского социализма». Эпохой расцвета этого социализма были именно 70-е годы. В эпоху же издания «Колокола» влияние Герцена и Огарева на революционную молодежь ослаблялось влиянием на нее Чернышевского. Мы уже знаем, что издатели названной газеты смотрели на этого последнего как на западника, социализм которого имел в виду исключительно города. Шумный успех программы Чернышевского не мог не вызывать в них некоторых опасений. Вот как выражаются они Огаревым:

«Я боюсь встретить в наших социалистах выставление вперед исключительно городского образованного пролетариата и приведение его в центр всех социальных стремлений, в особого рода сословие, при чем можно только достигнуть до

ассоциации, не имеющей вещественной опоры, и до невозможной борьбы со всеми направлениями других, сильно поставленных городских сословий. И это в то время, когда на Руси существует историческое основание сельского строя, стоящего на общественном владении почвы, — строя, к которому должен примыкать образованный городской пролетариат, образованное меньшинство!»¹.

Заметьте, что Огарев здесь говорит исключительно о «городском образованном пролетариате». Так называлась тогда (и еще долго после) интеллигенция. Огарев совершенно прав, утверждая, что «образованное меньшинство» должно выйти из узких пределов своих кружков и слиться с народом. Но для него народ, это — исключительно крестьянство. Ему даже в голову не приходит, что «образованное меньшинство» могло и должно было встретиться в городах с промышленным пролетариатом. Для промышленного пролетариата просто-на-просто нет места в его рассуждениях. Народники 70-х годов уже не могли забывать, что в городах существуют рабочие в собственном смысле этого слова. Но для них городские рабочие были не более как крестьянами, испорченными «трактирной цивилизацией». Тут они опять ошибались в ту самую сторону, в какую ошибались издатели «Колокола».

Однако пора кончать. После всего сказанного, читатель, я надеюсь, не отвергнет следующих выводов:

1) Своим сочувствием народному горю Герцен был обязан влиянию на него многострадальной крепостной «передней».

2) Герцену хотелось, чтобы освобождение крестьян явилось первым шагом на пути социалистического развития России.

3) Определяя желательный путь этого развития, он выступил родоначальником народничества.

4) Этого было совершенно достаточно для того, чтобы ему постепенно перестали сочувствовать те либеральные элементы русского общества, которые сначала горячо приветствовали появление «Полярной Звезды» и «Колокола».

¹ 3-е «Письмо об общих вопросах», «Колокол» № 220.

5) Между Герценом и Огаревым отнюдь не было существенных разногласий во взгляде на крестьянскую реформу и на русский социализм.

6) Разошедшаяся с Герценом революционная молодежь в значительной степени и очень долго жила его идеями и тем больше подчинялась их влиянию, чем гуще окрашивалось в народнический цвет ее движение.

7) В своих тактических суждениях, приводивших ее к разрыву с Герценом, революционная молодежь делала логическую ошибку, совершенно подобную той, благодаря которой у него составилась взгляд на Россию как на страну, могущую притти к осуществлению социалистического идеала самобытным путем, не похожим на путь западно-европейского общественного развития.